

Семен Соломонович Юшкевич

# Вышла из круга



# Семен Соломонович Юшкевич

## Вышла из круга

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=662765](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=662765)*

*С. С. Юшкевич. Сочинения: М.; 2011*

### Аннотация

«Лишь теперь она что-то поняла, разгадала, и оттого у нее такой таинственный вид, и оттого так мудро все кивает головой и улыбается. У нее ведь тайны с окном, а никто об этом не знает. Не узнают, о чем она шепчется с луной утром рано, когда все спят, или с солнцем... Солнце она видит хорошо. Оно старое, престарое, в морщинах. Когда-нибудь и она будет стоять вот в том уголке на небе, – надо только немного подождать, еще поесть, подышать, столько-то раз умыться... И когда она станет на небе рядом с солнцем, то уж все поймет, потому что там все ответы...»

# Семен Соломонович Юшкевич

## Вышла из круга

Близится вечер... Горничная, в белом переднике и в на- колке, накрывает на стол и, расставляя тарелки, старается не шуметь, чтобы не обеспокоить барина с барыней, уединив- шихся в спальне.

Ровно в шесть сядут обедать... В столовой, большой и не очень уютной, дюжина дубовых стульев с высокими резными спинками, дубовый раздвижной стол, модный буфет с зер- калом, в которое никто не может глядеться, так высоко оно вставлено между двумя колонками-шкапчиками, картины, цветы в больших вазонах... на подоконнике лежит книга – «История философии» Куно Фишера...

Пришли уже гости – отец и мать Ивана Николаевича Га- лича. Николай Михайлович Галич – невысокий, коренастый старик. Седая борода. На сизом кончике носа пучок седых волос. Глаза у него выцветшие, голубоватые и очень похожи на глаза сына. Лукерья Антоновна, – высокая, худая женщи- на, в черном платке, строгая, надутая, чванная... Крашенные волосы причесаны по-модному, и их цвет не гармонирует с дряблым, бескровным старушечьим лицом и тонким носом, твердым, как кость. Из чванства она не снимает перчаток и

расстается с ними, только когда садятся обедать.

Появления детей в столовой старики, обедавшие здесь только по воскресеньям, ждут терпеливо и без досады... Они привыкли... Отец, расставив ноги и расстегнув черный сюртук, с важным видом читает газету, а мать разговаривает со старухой, бабушкой барыни Елены Сергеевны. Бабушка, которую никто не называет по имени, очень старая, лет под восемьдесят... Она слушает Лукерью Антоновну, не отвечает, а только кивает головой. Ей все равно, что бы она ни услышала... Женился ли кто-нибудь, убили ли кого-нибудь, много ли проживает внучка денег, дорожают ли квартиры, посетило ли важное лицо город, – ей все равно... Может быть, она даже и не слышит, что ей говорят. Как всегда, она и теперь сидит у окна, вглядывается, прищулив глаза, в наступающую тьму, кивает головой и думает думу человека, который не сегодня-завтра умрет...

Она ведь очень стара и очень устала от всего, – от еды, от того, что надо дышать, переходить комнату, умываться, ложиться в постель... Текут года неустанно, опять дети, опять карьеры, любовь и радости и несчастья – все одно и то же...

Она любит глядеть в окно. Это ее последние радости... Глядит и как бы недоумевающе спрашивает то у рога утренней луны, такого бледного и легонького, как пушинка, то у солнца, что к вечеру становится против окна, сердитого, красного: «Что же это я засиделась здесь?» или «Где это я? Зачем жила и для чего родилась? Что я узнала оттого,

что была когда-то девушкой, женщиной, матерью, теткой, бабушкой, что страдала и радовалась, и стала глубокой старухой?..»

Лишь теперь она что-то поняла, разгадала, и оттого у нее такой таинственный вид, и оттого так мудро все кивает головой и улыбается. У нее ведь тайны с окном, а никто об этом не знает. Не узнают, о чем она шепчется с луной утром рано, когда все спят, или с солнцем... Солнце она видит хорошо. Оно старое, престарое, в морщинах. Когда-нибудь и она будет стоять вот в том уголке на небе, – надо только немного подождать, еще поест, подышать, столько-то раз умыться... И когда она станет на небе рядом с солнцем, то уж все поймет, потому что там все ответы...

Горничная разложила салфетки, нарезала хлеб и бесшумно удалилась.

В спальне Иван сидит подле Елены на большом широком красном диване и, нежно обняв ее, говорит;

– Вечером пойдем в театр... Интеллигентные люди должны ходить в театр, – а после него ночь, и опять мы будем вместе... Лена, помнишь картину Штука? Я прижмусь к тебе, и мы станем похожи на нее... Ты любишь меня?

– Люблю, а ты?

– Безумно! Даже странно, как безумно я люблю тебя. Говори тише, а то папа и мама услышат наши голоса и почтительно подумают про нас, – проснулись!..

Они прижались друг к другу и замерли. Живут ли они те-

перь, или никогда их не было? Бегут секунды, века... И так сладко вместе, так радостно чувствовать, что там, за окном, терпеливо и бессмысленно движется куда-то человечество, а они тут любовью все превозмогли...

Что важно для их жизни? Важно, чтобы завод Ивана хорошо работал, важно, чтобы кругом них все было налажено и не беспокоило, чтобы старший, двенадцатилетний мальчик, и младший, шестилетний, были веселы и здоровы, чтобы старики, – отец и мать Ивана, ни в чем не нуждались, чтобы прислуга не менялась и не нарушался привычный покой, и еще важно, важнее всего этого, – их любовь...

Иван всегда завален работой, получает с завода тысяч двадцать пять дохода, но уже мечтает о своих пятидесяти годах, чтобы удалиться от дел, отстраниться от жизни... Пусть люди делают, что хотят, стремятся куда-то, верят во что-то, создают, изобретают. Он поселится за городом, в спокойном особняке с садом, с фортепиано, с книгами по философии и искусству... ведь самое ценное в жизни, самое значительное – своя любовь и своя смерть. Любить он будет молитвенно, а к смерти готовиться, потому что все, что называется миром, природой, человечеством – мираж, и ни он, ни Елена к нему отношения не имеют.

Он отодвинулся от нее и стал гладить ее розовые руки от плеча к кисти.

«Иван опять хочет обнять меня, – подумала Елена. – Я люблю его, но хотела бы, чтобы он сейчас этого не делал... Я

устала и плохо буду выглядеть вечером, когда придут гости: Савицкий, Глинский и другие... Нет, не это меня занимает... Скажу Ивану».

И она шепотом сказала ему, широко раскрыв глаза:

– Я все думаю о Любе Малиновской... Когда ты обнимаешь меня, или я тебя целую, я теперь невольно пытаюсь представить себе, что ты – чужой... Ведь она была привязана к своему мужу, а сошлась с Елецким, который гораздо хуже ее мужа, и я до сих пор не могу успокоиться. Вдруг бы и я...

– Ты не способна на это, ты – другая...

– Не в том дело... Если вдуматься глубоко, то начинает казаться, что любовь этому не может помешать. Я представляю себе чужого на твоём месте... Страшно, – она даже закрыла глаза, – ужасно страшно!.. Не могу...

– Елена! – сказал он и стал очень серьезен. Поперек лба его легла глубокая, тяжелая морщина.

– Ну, милый, милый, вот ты и нахмурился... Я боюсь, что мы слишком счастливы. Самое страшное, что мы слишком счастливы. Не успеешь подумать о чем-нибудь, и оно уже есть. Хоть бы какая-нибудь неприятность, какое-нибудь волнение! И... и хочется маленького несчастья для нашего большого счастья.

– Все эти мысли, Елена, – вздор, – сказал он, опять обнимая ее. – Как приятна твоя теплота! Я уверен, что этой теплоты нет нигде больше в мире. Мне почему-то кажется, что она двадцати девяти градусов, плюс одна миллионная...

Такую невысказано физически воссоздать. Двадцать девять и одна миллионная, – повторил он, – смешно, право. Это – та самая, ради которой я от всего откажусь, так она нужна мне, так хорошо с ней.

– Я устала, – шепнула Елена

– Еще немного, и сейчас у тебя закружится голова. Где бы я ни был, я вижу тебя всегда подле себя. Ты стоишь в воздухе, такая, как сейчас... Я хорошо помню каждую твою черту и, будь я слеп, я мог бы нарисовать тебя, так чувствую я твои линии... И я всегда слышу твой милый, немного странный голос.

– Почему у тебя слезы на глазах? – спросила Елена.

– Потому что у меня не хватает слов рассказать тебе все, что я чувствую, и как мне мила твоя душа, и твои глаза, и твои розовые руки...

– А тебе не страшно, что я только тебе принадлежу?

– Я не понимаю, – ответил Иван.

– Но я ведь не виновата, что у меня такие мысли. Порой мне хочется чего-нибудь деятельного. Чем мне заполнить день? Иногда мне жаль, что я так и умру, не узнав всего, что есть в мире. Я не обманываю себя. Наша жизнь не совершенство, и ты не совершенство, и бывают минуты, когда мне хочется подойти к окну, открыть форточку и высунуть из нее голову.

«Я все не то говорю, – подумала она, – я переживаю что-то другое, а что и как – сказать не умею, не знаю...»



– Какие странные мысли у тебя, – сказал он и замолчал, не решаясь вслух произнести того, что промелькнуло у него в голове.

«Разве в моей душе все спокойно?» – думал он.

– Для чего *мы* живем? Может быть, смерть – самое важное? Ведь кто понял ее власть, для того уже ничего не существует, нет ценного, ни великого, ни малого, ни прекрасного, ни безобразного, ни доброго, ни злого... А я понял... Еще минута такого головокружения, и все мне станет ясным...

– Да, безобразного, – стал он быстро повторять, – злого... не существует...

Но головокружение рассеялось, и увидел он себя рядом с Еленой. На него с испугом глядели ее сине-серые глаза, и она будто шептала:

«Не думай ни о чем: люди, мир, вселенная, это ложь. Правда – в ней, в Елене, в этом маленьком, отграниченном от природы существе; правда – в ее теплоте, в твоей любви к ней, в ее розовых руках...»

Постучали осторожно в дверь... Должно быть, горничная. Хотелось зажечь лампу и увидеть друг друга. Елена сидела, свесив ноги на ковер, тонкими, красивыми пальцами проворно заплетала распущенные волосы в косу и думала:

«Вечером будут гости... Какое платье надеть сегодня?.. И как я счастлива, как счастлива! Даже петь хочется, так легко стало на душе...»



Белое солнечное утро. В порозовевшие окна вливается голубое небо, отчетливо вырисовывается церковь со своими как бы присевшими широкими пятью куполами и стройная высокая колокольня... А подальше, как в тумане, пронизанные лучами, реют желтые камни домов.

Елена сидит за туалетным столиком с распущенными волосами и очень внимательно, так, что потемнели ее сине-серые глаза, разглядывает свои обнаженные руки от кистей до плеч, поворачивает их так и этак, любитесь игрой солнца на чистой, атласной, с едва заметным золотистым пушком, – коже... Красивые, тонкие, длинные пальцы, – плечи же в зеркале просто ослепляют белизной и свежестью. От радости Елена кивает головой, улыбается нежно и ласково, и смеется, чтобы увидеть блеск своих белых, чудесных зубов.

Вчерашний вечер прошел очень весело... Были Глинский, Болохов, Савицкий, Капустин и ухаживали за ней. И что они ей говорили, что говорили! Она не понимает, как можно так держаться с замужней женщиной, как не стыдно! И все-таки вчера, как и в прежние разы, ей было интересно с ними... Она даже не сумела бы сказать, что именно. В действительности стыдно, не хорошо и не нужно, – каждое слово Глинского или Болохова, если понять прямо, – было оскорбительно, но оттого, что оскорбительно, оттого, что стыдно, она

испытывала какое-то особенное, незнакомое удовольствие, очень странное и волнующее... А тут еще пришло письмо от Любы Малиновской, которое ее совсем смутило.

«Если, – писала ей Люба Малиновская, – одна любовь делает жизнь прекрасной, то почему останавливаться на одной? Другая любовь должна сделать жизнь еще прекраснее, интереснее, богаче, и вот почему я сделала то, что сделала... Важно не то, сколько раз любить, а важна правда. Каждая новая любовь раскрывает душу глубже, делает ее разностороннее, радостнее, солнечнее... Пока я любила только мужа, я была точно девушка, а вот теперь, полюбив другого, мне открылось новое. Прежде я была в цепях заповедей, в цепях человеческой выдумки, а когда я цепи порвала и вырвалась на волю, то увидела, что испытывала ложь и жила в неправде... Я не хочу подчиняться человеческим заповедям, – моя душа – моя заповедь! Указанная Спасителем любовь, закрывающая душе все выходы, это – ужас, каторга!...»

«Закрою волосами лицо, – подумала Елена, бросив письмо на туалетный столик, – и буду мечтать...»

Да, когда-то, она была наивной, все воспринимала свежо, с удивлением, а теперь это прошло и больше не вернется. Жить же надо еще долго, долго. Раньше каждый день приносил что-нибудь новое и была прелесть в жизни; дразнило знать, что будет дальше, точно она интересный роман читала; были желания и удовлетворения, а теперь – она так счастлива, что ей желать нечего... У нее все есть: есть дети, ко-

торых она обожает, Иван ей ни в чем не отказывает, и вот оттого, что все есть и ничего не нужно – ей плохо. Она не несчастна, она счастлива, и это хуже всякого несчастья. Сиди перед зеркалом, разглядывай себя со всех сторон, улыбайся или плачь, если хочешь, а душа спит, замерла.

Она откинула волосы и посмотрела на себя в зеркало.

«Это я? – спросила она себя. – Ужели я – та, которая смотрит на меня из зеркала? Да, я, – ответила она себе с радостью – я, я!»

«Если одна любовь дает счастье, то две любви дают два счастья, и это интересно», – промелькнуло у нее, и она покраснела от удовольствия, от смущения, стыда и отвернула глаза, чтобы не видеть своего лица...

Виноват в ее томлении Иван. Она его нежно любит, но все-таки он в ней что-то убил. Раньше, лет пять тому назад, она была другой. Все человеческое имело для нее ценность... Она верила в Бога, знала, что хорошо, что дурно, что нужно и что ничтожно... Пришел Иван и во всем ее разочаровал. Разговоры, чтение книг философских и научных, постоянная критика – и наступил конец ее безмятежности... Теперь она твердо знает, что Бога нет, даже смешно подумать о нем, когда так ясно, что человек и Бог вместе невысказаны... Или человек, или Бог. Ведь если бы Бог, действительно, существовал, то люди, уверовав в него, вместо того, чтобы прозябать здесь, ссориться, мучиться, делать какие-то дела, распределять землю, пахать, воевать, – ради вечного

блаженства, немедленно прекратили бы свою жизнь... Вот что ей навеки доказал Иван. Человечество оттого и может существовать, что Бога нет. Также она твердо знает, что человечество совершает круг на месте и что движение вперед есть иллюзия... Жизнь начинается, разрушается и ничего не остается... Человек, зверь, все живущее, растущее – исчезнут навеки и не повторятся. Горы, моря, сам земной шар когда-нибудь расплытятся, потухнет солнце, погибнет солнечная система, начнется хаос, и снова пройдут миллионы лет и неизвестно еще, восстановится ли, как было. И так будет продолжаться вечно, без всякого смысла, без оправдания... И если подумать, что это бесконечно и вечно, то начинает казаться, что сходишь с ума, падаешь духом и не хочется уже соваться с человечеством, с его какой-то правдой, с его желаниями и стремлениями. Какую роль можно отвести добру и злу, исканиям и вере среди ужаса этих квадриллионов лет, биллионов верст, и во что ей верить, если она все знает; знает, что непременно умрет, как комарик какой-нибудь, как василек?... Нет загробной жизни, никому ничего не воздастся, и прав Иван, когда говорит, что нужно пользоваться жизнью, брать от нее все блага и думать только о себе, ибо нет возмездия нигде, во всей вселенной...

Она опять погляделась в зеркало. Как она бледна! Недалеко и с ума сойти, и страшно ей наедине с собой... Она наивна, ничего в действительности не переживала, а, благодаря Ивану, душа у нее, как бездна и стара, как мир... И если бы

не любовь к Ивану, к детям, она, может быть, покончила бы с собой, так ей страшно иногда становится жить, так угнетает мысль о малости и ничтожности своей и всего человечества в сравнении с миром, его бесконечностью и неисчислимыми миллионами лет...

Сложилась ее жизнь так. Будто на заре она вышла доверчивая, полная надежд, жизнерадостная, по какому-то своему человеческому делу, и на пути вдруг кто-то крепко ударил ее по голове и изувечил навсегда. Вместо человеческого дела осталось на всю жизнь увечье, и с этим увечьем надо было жить и дальше, и поступать, как приказывает увечье, то есть, не верить ни во что, примириться с тем, что ни высокое, ни дурное, ни прекрасное, ни даже ее любовь к Ивану, его любовь к ней, ни привязанность к детям к кому бы то ни было, не имеет ценности и что бессмысленно все человеческое и всякое усилие во имя чего-нибудь.

Она достала утюжок, смазала розовой пастой ногти.

А все-таки в магазины она сегодня пойдет... Пусть миллиарды лет, разрушение, бесконечность – потрясающая чепуха, а все же духи кончились, и она сегодня купит ландыш Коти... Купит перчатки. Купит еще что-нибудь, вообще будет покупать, покупать... Самое главное – не задумываться серьезно, все равно ничего не выдумаешь.

Так рассуждая с собой и вдруг развеселившись, она встала. Взгляд ее упал на рояль, стоявший тут же, в спальне, с недавнего времени. Машинально она села, лениво открыла

его и сыграла на память баркаролу Мендельсона. Руки она держала строго вытянутыми и, играя, высоко поднимала их. Закрыв глаза, перебирая пальцами клавиши то быстро, то медленно, она как всегда, замечталась, и ей пригрезилось, что она плывет в гондоле и красивый гондольер поет эту баркаролу. На посеревшие камни старинных дворцов, мимо которых плыла гондола, будто спустились синие тени, тихо вздыхала зеленая вода под черным веслом, а песнь гондольера звучала просто и нежно, и искренни были его слова.

«Приди, и я успокою тебя», – так, казалось, пел гондольер. И дальше он пел о том, что нежностью своей зажжет искру детской веры в ней и снова радостны будут мечты о вечной жизни... Что он зажжет светильник в ее сердце, и светильник этот будет любовью к людям, к страждущим, к мученикам... Что загадок нет, а есть вечный единый Бог...

Слыша это, Елена задерживала левую руку на клавишах, и долго и торжественно звучали в ее душе аккорды... Она не помнила, когда перестала играть. Сидела она, наклонившись над роялем, руки ее все еще лежали на молчавших клавишах, и плакала хорошими слезами.

В магазины она раздумала ехать... Посидев еще немного, она тихо встала и, как была в одной сорочке, в туфлях, с распущенными волосами, подошла к окну, выглянула на улицу и машинально взяла толстую книгу, лежавшую на подоконнике. Это был том арабских сказок. Она раскрыла его и начала читать тут же у окна, как ребенок увлеклась и забыла, что

с ней, где она. Слезы высохли на ее глазах, а от волнения она порозовела... Отбрасывая рукой пряди волос, спадавшие на глаза, она перелистывала страницы, быстро глотала строчки и думала с сожалением о том, что родилась в скучный, прозаический век... Но через час она уже была на улице, потому что позвало ее веселое солнце, смеющаяся толпа...

Сначала она пошла тихо, важно, медленно, с намерением только пройтись, подышать воздухом, полюбоваться красками улицы и вернуться, но не прошла и десяти шагов, как раздумала.

Извозчика она позвала движением руки, одетой в лайковую перчатку. На дрожжах Елена сидела ровно, стройно, чуть-чуть улыбаясь, и всем встречным она нравилась... У какого-то магазина она велела извозчику остановиться, расплатилась, вошла и в одну минуту накупила массу ненужных ей вещей. Отсюда она пошла в другой магазин, и вскоре образовался большой сверток, который она приказала отослать домой. Счастливая, что так мило провела время, она вышла из магазина. В больших зеркальных стеклах отражалась ее стройная фигура, и она с удовольствием оглядывала себя то в том, то в другом окне. И столько беззаботности было в ее лице, так оживленно блестели ее глаза, что трудно было поверить, будто недавно она была несчастна, близка к самоубийству. У дверей одного магазина она неожиданно столкнулась с выходящим оттуда доктором, Иваном Андреевичем Савицким, и покраснела... Почувствовав тепло-



ту в щеках, она еще больше смутилась и совсем стала похожей на девочку, которую уличили в чем-то дурном. Между тем, Савицкий, заметив, что она покраснела, уже нарочно в упор посмотрел на нее, радуясь тому, что он был причиной ее смущения. Поклонившись, он поднес ее руку к своим губам, с удовольствием вдохнул тонкий запах духов и, подняв голову, уже совершенно откровенно, быстро оглянул ее всю, будто тронул руками. Елена опять покраснела и стала еще милее.

«Он заметил, что я покраснела, – подумала она, – и, может, Бог знает, как дурно объяснить себе это. Какая досада!.. Я не буду больше смотреть на него».

Савицкий шел рядом и нарочно насмешливо, словно Елена была девочкой, говорил:

– Конечно, Елена Сергеевна ходила по магазинам... Уж вы не отнекивайтесь. Знаю я, как барыни время проводят... И того закупили, и сего и всякого, а, вероятно, все ненужное.

– Да, ходила по лавкам и закупила ненужного, – улыбаясь и не понимая, отчего чувствует себя счастливой, ответила Елена. – Разве нельзя?

– Нельзя, – строго сказал он и сейчас же бросил шуточный тон.

Они шли и разговаривали о пустяках, о том о сем, о встречах, о знакомых и о последней книжке, о театре, о ее муже, и о его жене, с которой он давно уже нехорошо жил... Рассказал об этом Савицкий просто и сердечно. Дом разде-

лили на две половины: на одной жила жена – Савицкий описал ее высокой, некрасивой, чопорной женщиной с дочерью, учившейся на курсах, а на другой – он... Дочь его не любила, кажется, презирала... Встречались они только за обедом.

– Да, это очень грустно, – сказал он со вздохом, – а я ведь женился по любви... Нет, уж лучше помолчать о том, что думаю.

Чем-то приятным повеяло на Елену от Савицкого. Трогало его доверие и было какое-то обаяние в том, что серьезный, поживший человек, которому было за сорок, много испытывавший на своем веку, вдруг открыл перед ней душу.

Постепенно, переходя от одной темы к другой, перебирая знакомых, вспомнили и Любу Малиновскую. Елена рассказала о письме, которое получила от нее... Савицкий страшно обрадовался и стал говорить, но не о письме, а о том, что ему хотелось непременно сказать Елене.

– Я понимаю Любовь Андреевну, – произнес он, – ведь так приятно и страшно ходить над пропастью... – В письме ничего не говорилось о пропасти. – ...Я уверен, что муж непременно застрелит Елецкого... – И об этом в письме ничего не было. – ...не сегодня, так завтра, а Любовь Андреевне, может быть, это только и нужно... самый испуг... И если бы я знал, – будто неосторожно вырвалось у Савицкого, тут Елена почему-то побледнела и испугалась, – если бы я знал, что ваш муж застрелил бы меня, и знал наверное, что это мне угрожает, то стал бы энергичнее добиваться вашей любви,

чем добиваюсь теперь...

Она замерла, притихла. Сердце у нее перестало биться, и было только желание поднять руку и положить ему на губы, чтобы он замолчал, не говорил больше. Она не знала, что ответить, не знала, как держаться дальше и от страдания все больше краснела и ниже опускала голову. Он же, словно ничего дерзкого не сказал ей, заговорил о другом с таким увлечением, будто ему было всего двадцать лет.

– Вы часто краснеете, Елена Сергеевна, – сказал он вдруг. – Я отдал бы пять лет жизни, чтобы быть способным краснеть, как вы... Я, может быть, говорю пошлости, и если вы это чувствовали, то простите меня, – искренно произнес он... – Чего мне искать в жизни? – неожиданно спросил он ее, и она опять похолодела. – И что мне делать в ней? Мне нужно было родиться лет пятьсот назад, быть охотником, преследовать зверя, жить в лесу с солнцем, с деревьями, с дождем, а я всего только доктор... Я люблю изменчивое, что мелькнуло, как видение, и что скользнуло мимо глаз... Я весь в минуте, в ощущении... Как хорошо, что вы улыбнулись на мои слова... Для меня ваша улыбка – заблагоухавший цветок, оживший камень... Если я говорю пошлости, – повторил он, – простите меня.

– Нет, не пошлости, Иван Андреевич, – с трудом ответила Елена, – но не говорите *со* мной... так! Я краснею от ваших слов.

– Вы правы, – торопливо сказал Савицкий, – и я больше

не буду... У меня дурная привычка говорить вслух все, что я думаю.

Она промолчала, опять не зная, что ответить ему, но вспомнила о всеобщем разрушении, о распылении миров, о вечности и подумала, что слушать Савицкого не страшно, не оскорбительно и не дурно. Она только робко сказала ему:

– Пустите мою руку, мне жарко.

Расстались они неохотно... Ему хотелось говорить, ей хотелось слушать... Он усадил ее в дрожки и почтительно поклонился. Она уехала.

Сидя в дрожках, как всегда ровно, стройно, Елена чувствовала себя счастливой, улыбалась встречным, раскланивалась со знакомыми.

«Странно, – думала она, – у меня все еще дрожат руки, но еще более странно, что я не упрекаю себя, что не говорю: „кажется, я совершила дурное“».

Она вспомнила желтоватое лицо Савицкого, мелькавшее кое-где серебро в его бритом подбородке, мешки под глазами и стало на миг неприятно. Когда он смеялся, сверкало золото plombированных зубов, или, может быть, он носил вставные зубы, – но было нечто в нем, покрывавшее то, что он был не молод, и желтоватое лицо, и мешки под глазами, и она не знала, что именно. Но это «нечто» было приятное. Хотелось и теперь быть с ним, закрыв глаза, слушать, как он рассказывает о жене, о дочери, о себе, – отдаваться его образам, думать, как он, и желать быть охотником пятьсот лет

тому назад...

\* \* \*

У Елены была гимназическая подруга, Маша Антоновская, с которой она не встречалась лет десять. Случилось, что сына няни Маши Антоновской, работавшего на химическом заводе Галича, удалили за какую-то неисправность... Маша Антоновская съездила к Елене похлопотать за уволенного, и тут подруги вспомнили далекое прошлое: гимназию, строгую начальницу в черном платке, всех классных дам и много смешных случаев из гимназической жизни... Вспомнили кондитерскую, куда после уроков ходили гурьбой покупать пирожные, гимназистов, провожавших их домой, ученические балы и многое другое. Маша Антоновская, которую Елена по старой памяти, называла Машенькой, однако, просидела недолго, больше слушала, чем говорила, и все поглядывала на миниатюрные черные часики, которые часто вынимала из-за пояса... На прощанье она позвала Елену к себе, посмотреть, как она живет.

Расстались подруги дружески, хотя Елена нашла что-то неприятное в Машеньке, что-то новое, чего она в ней не знала... В гимназии Машенька Антоновская считалась первой шалуньей, проказницей, ветренницей. Она была маленькая, живая, с черными быстрыми глазками, с вздернутым носом и кудряшками. Но вздернутый носик вырос, стал большим,

некрасивым, а сама она сделалась какая-то деловитая, сдержанная, подчеркнута серьезная.

Вот эта-то чрезвычайная, подчеркнутая серьезность, которая проглядывала в каждой мелочи, неприятно поразила Елену. Поняв причину своего недовольства, она решила, что Машенька – обыкновенная, неразвитая женщина, пожалела ее и пожалела о том, что жизнь ломает человека. Вместо того чтобы идти к своему освобождению, человек все больше замыкается в цепях больших и малых пустяков... И в этот день Елена была неверующей, как никогда еще до сих пор.

Однажды ее потянуло к Антоновской... Она быстро собралась, наказала бонне присматривать за шестилетним Борисом и отправилась. Позвонив у дверей квартиры Антоновской, и отдав горничной пальто, не снимая шляпки, Елена побежала по комнатам, неся с собою оживление и солнечный трепет улиц, по которым сейчас проезжала. Машеньку она нашла в детской, самой лучшей здесь, самой большой и светлой комнате, но восклицание приветствия замерло у нее на устах, когда увидела, что Машенька делает ей знак молчать...

Елена растерянно кивнула головой и на цыпочках вошла в комнату. Сидя на стуле и поставив ноги на скамеечку, Машенька кормила ребенка. Лицо у нее было торжественно. Придерживая грудь, внимательная, порозовевшая от удовольствия, она не спускала глаз с мальчика, поворачивала голову, когда он ее поворачивал, и со смехом откидывалась

назад всем телом, когда он бросал сосать и оглядывал то потолок, то стены, то окна.

Тут же стояла няня, та самая, за которую хлопотала Машенька, очень опрятная, полная, с добродушным лицом, женщина, державшая в руках одеяльце наготове, чтобы прикрыть мальчика, когда барыня прикажет...

Благоговение, и радость, и счастье Машеньки на миг передались Елене. Она вспомнила своего Колечку, которого сама выкормила, – Бориса она отказалась кормить, чтобы не портить фигуры, – и на миг перенеслась на десять лет назад. Даже в груди она испытала то особое приятное ощущение томления, которое доставляло когда-то столько наслаждения и о котором совершенно забыла, точно его никогда и не было.

Она стала сзади Машеньки, приподнялась на цыпочки и начала улыбаться мальчику, звать его, причмокивать губами, и левая бровь у нее поднялась, как десять лет тому назад.

Так прошло несколько времени... Когда мальчик уснул и его уложили в кроватку, няня заботливо и благоговейно накрыла его одеяльцем, трижды перекрестила, – и после этого все три долго еще стояли и наблюдали, как он, розовенький, гримасничает, со сна улыбается, хмурится, и вышли из комнаты лишь по настойчивому, внушительному требованию няни.

В столовой, какой-то бесцветной, крошечной, им сейчас подали кофе, тартинки. Машенька с незнакомым Елене оживлением, начала рассказывать о Васеньке... Рассказыва-

ла она обо всем – о его прелестях, и о том, когда у него животик болел, и о понятливости, и о замечательных способностях, но с таким жаром и верой в значительность того, что она говорит, что Елене опять стало неприятно, и она про себя подумала: «Машенька еще не дошла. Она вся в чаду, а я уже пережила это, и мне лучше».

Потом Машенька спохватилась, вспомнила о Елене, спросила о здоровье, о детях, о муже и равнодушно выслушала ответ Елены о том, что она благополучна, что Колюшка учится в гимназии, что химический завод мужа работает очень хорошо... В эту минуту Антоновской показалось, что Васенька заплакал. Она вскочила, и на лице ее изобразилось страдание, и вне себя выбежала из столовой. Однако тревога оказалась ложной, и, перекрестив три раза ребенка, она вернулась к Елене, все еще чуткая и настороженная... Но лицо ее уже сияло.

– Сейчас, – сказала Машенька, не сомневаясь в том, что Елене это интересно, – мы сядем шить рубашечки Васеньке. Как он растет, ты себе представить не можешь. Ты тоже шьешь дома?

– Нет, не дома, – улыбнувшись, ответила Елена.

– Вот как, – удивилась Машенька, – а мы сами все делаем... Ты, Ленка, даже не подозреваешь, сколько труда сделать жизнь ребенка сносной. Ведь надо вырастить человека, – с важностью сказала она.

– Я не узнаю тебя, – отозвалась Елена... – Ты – Машенька



Антоновская!

– Ах! – Антоновская махнула рукой: ее, видимо, не тронуло восклицание Елены. – Надо много, много учиться, чтобы не повредить ребенку... У меня с утра с ним хлопоты, я ни о ком и ни о чем не думаю, кроме него. Ночью кормлю его два раза и даже некогда быть женой, – это она сказала шепотом. – Вообрази, Сережа стал меня ревновать к Васеньке, а я не могу иначе... Васенька должен вырасти здоровым, сильным, смелым, гениальным...

– А твоя жизнь? – прервала ее Елена, которой слова эти показались смешными и глупыми.

– Какая моя? – удивилась Машенька. – Но ведь это и есть моя – его жизнь, – быстро заговорила она. – Я свое уже сделала, когда была девушкой... Помнишь, и училась, и проказничала, книжки читала, танцевала на балах, флиртвала, влюблялась... Когда кончила гимназию, стала работать в кружках, читала серьезные книги, увлекалась социализмом... Я была хорошим человеком. А потом начала серьезно думать о будущем и, слава Богу, удачно вышла замуж. Тогда моя личная жизнь кончилась. Я – хорошая жена, не влюблена, как ты, в своего мужа, но ценю Сережу, его характер, его ум. Он – отличный врач, у него в больнице своя палата, и я его уважаю.

– И это не скучно? – недоверчиво спросила Елена, вспомнив о Любе Малиновской.

– Скучно? – повторила Машенька и во все глаза посмот-

рела на нее. «Какая странная эта Елена, – подумала она, – или притворяется, не пойму ее». – Да у меня ведь нет минутки в день свободной, чтобы скучать, – громко сказала она. – Я влюблена в Васеньку... Для него я раззнакомилась со всеми, никуда не хожу, нигде не бываю... Из него должен выйти прекрасный человек, отличный гражданин... У нас еще очень мало настоящих граждан, Елена, и оттого их мало, что матери об этом не позаботились.

«Как все это скучно, добродетельно и старо, – думала Елена, слушая ее, – и какая она наивная. Боже мой, ведь я сама когда-то думала, как она. Она даже не подозревает, как ничтожен ее идеал, а я поняла, и мне теперь хорошо, я свободна».

Однако мыслей своих она не сказала Машеньке, не подарила их ей, потому что ребенку не дарят бриллиантов... И вдруг Елене стало скучно здесь, Тесно в этих комнатах, сделалось страшно от этого честного, добродетельного покоя, от этой Машеньки, которая еще верит в граждан, от ребенка-удава, уже начавшего пожирать человека, его жизнь, его личность.

– Тебе скучно? – спрашивала между тем Машенька.

– Нет, не скучно, – лицемерно ответила Елена. – Может быть, пойдешь погулять? Впрочем, звать тебя напрасно, а на улице теперь удивительно хорошо.

– Вот, что ты придумала, – засмеялась Машенька, – гулять! Не поможешь ли ты мне кроить? Ты не умеешь кро-

ить, – серьезно и с укором сказала она, – как это странно, ведь у тебя двое детей; а я вот выучилась, купила швейную машину, научила и няню шить, и в свободную минуту мы шьем...

На улице Елена легко, радостно вздохнула. Больше она никогда не пойдет к этой женщине... Бог с ней, с ее честностью, добродетелью, с ее верой и гражданами. Какое чудное солнце на небе и как хороши и прекрасны люди на улице!.. Они свободны, как птицы. Они слетаются и разлетаются. Улицы точно дорожки, дома же – деревья, и звуки рожков, будто трубят охотники. Город, как лес... Пятьсот лет назад Савицкий был охотником!.. «Мне хорошо с вами, свободные люди, – хочется ей крикнуть. – Вы ведь, как и я, ни во что не верите... Солнце, таинственный лес-город, поглотит меня!»

Опять она сидит в дрожках, стройная, красивая, непохожая на других женщин, какая-то особенная, и думает: «Если бы кто-нибудь знал, какие у меня мысли!.. Как я все понимаю...».

\* \* \*

...Утро воскресенья... Елена, отправив детей, Колю и Бориса, погулять, бесцельно слоняется по молчаливым, уютным комнатам.

Иван уехал на завод по делам, кроме того, ему необходимо

было повидаться с адвокатом Морозовым, который вел его тяжбу с соседом о захвате земли, и, против обыкновения, обещал вернуться лишь к обеду.

И вот, выпив утренний чай и надушившись, Елена без дела слоняется по комнатам... То выглянет на улицу, то подойдет к роялю и возьмет несколько аккордов, потом захлопнет крышку и сидит неподвижно, уставившись в одну точку.

Странные мысли бродят у нее в голове, – руки тянутся к книге на столике, она открывает ее, машинально читает, затем кладет в сторону с недовольным видом, и снова мысленно ткнет свой причудливый узор, родившись от безделья, от сытости... Опять ей не сидится и надо подняться, пойти куда-нибудь – в гостиную разве, в мужнин кабинет, в столовую? В столовую!

Бабушка сидит по обыкновению у окна... Елена останавливается против нее и долго молча глядит на старенькую... Наконец говорит:

– Почему вы, бабушка, все в окно смотрите, что там видите?

Бабушка загадочно кивает головой и, кажется, отвечает что-то. Но что именно – непонятно.

– Бабушка, – сказала вдруг Елена, – вот вы прожили столько-то лет, дай Бог всякому, – что вы теперь чувствуете? Жалко ли вам чего-нибудь, или вы всем довольны? Вы хорошенько подумайте и ответьте.

Бабушка долго жует губами и вдруг, улыбнувшись, гово-

рит:

– Я ушла!

И сказав, опять глядит в окно на круглое солнце.

«Она ушла, – думает Елена с удивлением, – и я ведь тоже как будто ушла... Я как будто до сих пор жила с людьми, а теперь спросила себя, зачем они мне? Значит я, как бабушка? Ужасно это странно. Я молода, а она уже ничего не чувствует и вдруг обе пришли к одному...».

Опять Елена долго смотрит на бабушку, и она уже кажется ей другой, точно всю ее постигла.

– Я, бабушка, – сказала Елена громко, – давно уже о чем-то важном думаю, сказать Ивану боюсь, а вам скажу... Вы старая и, может быть, поймете меня и не испугаетесь. Скажите, в чем смысл жизни человека на земле? Нет, я спрошу так: в чем смысл моей жизни? Когда я думаю о себе и оглядываюсь на свою жизнь, то вижу, что всегда была паразитом, всегда только пожирала... Какой же тут смысл? Я ничего не принесла ни людям, ни миру, никому ничего не дала, ни для кого ничего не сделала, не приносила жертв, не трудилась, не творила ни добра, ни зла, не знала ни радости усилия, ни восторга достижения, какой же смысл в моем существовании и для чего я явилась на свет?!

Бабушка загадочно улыбнулась и ничего не ответила. «Вот вы все еще сидите здесь, а она, бабушка, ушла! Чего-то суетитесь, о чем-то расспрашиваете, что-то делаете, – а она ушла! Осталось ей столько-то раз поесть, подышать, столь-

ко-то раз комнату перейти, столько-то слов произнести, а потом начнется истинная радость..».

– А если правда, что нет смысла в моей жизни, – сказала Елена, испугавшись улыбки бабушки, – и отыскать его никому не дано, то мне все можно, и все, что я ни сделаю, не будет ни хорошим, ни дурным, и за него меня нельзя будет судить! Вот это поймите. Ах, бабушка, вы все улыбаетесь, а я мучаюсь.

Она в слезах пошла к себе, села в кресло... Из кухни доносился стук. Вероятно, рубили мясо на котлеты... Там работают, а она, Елена, ничего не делает! Если вслушаться хорошенько, то можно различить как жужжат станки на фабриках, бегут колеса, стучат молоты... Там изготавливают всякие материи, шелк, бархат, кружева, безделушки, – все, что ей, Елене, нужно. Мужики сеют хлеб, в кондитерских готовят торты, конфеты, на бойнях убивают быков, охотники бьют птиц, в лавках торгуют; все люди подняты на ноги, все работают, суетятся, изобретают, придумывают, вычисляют, меряют... Всякий сказал бы, что люди работают для людей, а Елена знает, что только для нее. Весь мир и существует для того, чтобы удовлетворить все ее желания... Даже солнце работает на нее, согревает землю, освещает улицы, а вот она ничего не делает и лишь бесстрастно принимает. Стыдно ли ей от такого порядка? Нет, не стыдно! Раз все обречено на уничтожение, то стыда не может быть.

Она опять сидит встревоженная и боится углубляться

дальше... Но вызывающе дерзко дразнит мысль, что ей все можно... Если человечество создало мораль, чтобы ввести порядок в жизнь, то ей до этого дела нет, потому что в человеческих законах она не чувствует божественного, а только человеческое, мелкое человеческое, его выгоду... Не ради Бога, а для выгоды... Ну, а любовь, – спросила она себя, – не божественного ли происхождения? Откуда же она происходит? Отчего же от нее такая радость? Отчего овладевает сердцем и создает в душе ощущения слияния со всем миром? А геройство? А великие мученики с их любовью к божественной истине, – это тоже для выгоды? Где же божеское и где человеческое? Где истина? И чему верить? Миллионам ли веков, смертности, уничтожению, или огню, живущему в сердце человека, побеждающему и смерть, и эти миллионы веков? Где же истина, где? – с мучением подумала она. – и что мне делать?..

Она сидела и играла фантазию Моцарта, и странная, необыкновенная, потрясающая радость озарила ее сердце. Моцарт знал ответ на тайну. Он соединил в одно прекрасное, непередаваемое словами божественное «да» и человеческое «нет». Вот истина! Надо слить в одно *да* и *нет!* Она играет, и еще немного – все поймет: бесконечность, смерть, божественное, выгоду и жалкое человеческое, с его убогими, маленькими десятью заповедями...

Днем пришел гость, Константин Андреевич Глинский, очень веселый, живой человек лет тридцати, служивший по-

мошником директора в одном крупном банке. Он был холост, желанный гость во всех богатых домах, где имелись де-вушки-невесты, но собирался жениться лишь к сорока го-дам, имея целью взять за женой не менее двухсот тысяч при-даного. Был он высокий, плотный, одевался изысканно, но-сил бриллиантовое кольцо на мизинце и душился крепкими духами. В его черных приятных глазах всегда играло лукавое выражение, будто он собирался сказать: «Я все знаю, и что нужно и для меня полезно, сделаю, уж вы не беспокойтесь». Лицо у него было широкое, мясистое, румяное, и очень шло к нему, что он носил бороду клинышком и пенсне.

За Еленой он ухаживал давно и откровенно, искал с ней встреч у общих знакомых, на балах, в театре и только недав-но зачастил к Галичам, благодаря настояниям Савицкого, с которым он был в дружеских отношениях. Позвонив, он нарочито придал своему лицу важность и солидность, так как рассчитывал застать Ивана Николаевича. Пока горнич-ная явилась на звонок, он успел смахнуть пылинку с сюрту-ка, вытер платком усы... В передней он по каким-то своим догадкам почуял, что мужа дома нет, и в миг переменялся... На лице его заиграла веселая улыбка и, пригладив волосы, он бодро, лихо, чуть изгибаясь, вошел в гостиную. Увидев Елену, поднявшуюся при его входе, он скользнул к ней и, неизвестно почему, протянул обе руки. После приветствия он поцеловал ее руку выше кисти – «ведь мужа нет дома, зна-чит можно», – сказали его глаза, – и, с удовольствием втянул



в себя чудесный запах ландыша, шедший от этой руки, сел в кресло, близко против Елены... Зная, что никто не может ему помешать, он, как всегда, с восхищением начал пожирать глазами ее руки, всю ее, и было это так явно, что, казалось, вот-вот он отбросит все условности, обнимет ее и крепко прижмет к себе. Елена невольно отодвинулась от него, опустив глаза и почувствовав стыд. Руки ее бессознательно поднялись и скрылись за спиной. Он рассмеялся и, подняв густые черные брови, с томностью в глазах коротко спросил:

– Елена Сергеевна, вы боитесь меня?

– Нет, не боюсь, – ответила она. – С чего это вам пришло в голову? – Но глаз все-таки не подняла и покраснела.

– Вы покраснели, – сказал он, значительно посмотрев на нее, – это хороший знак.

– Какой?

– Такой.

– Не знаю, о каком знаке вы говорите, – с легкой досадой, но и чуть заинтересованная, сказала она и удивилась тому, что мысли, лишь недавно мучившие ее, сейчас, когда она подумала о них, показались ничтожными и маленькими.

– Если вы покраснели, – объяснил он, не то шутливо, не то серьезно, – значит, почувствовали, что нравитесь мне. – Сказав это, он не мог уже остановиться. – Вы почувствовали, что я не могу оторвать глаз от вас, и что если бы можно было, я... я стал бы на колени перед вами, – как бы невольно вырвалось у него, и он сжал свои красивые руки, поразительно

похожие на руки Ивана.

Опять она была в железном кругу, в который попадала помимо своей воли.

«Как не стыдно, как не стыдно! – думала она о нем. – Почему же я не могу преодолеть своей немоты, чтобы сказать ему: перестаньте, вы говорите пошлости!»

Но она не может... Она скорее перенесет какую угодно пытку, но не подаст вида, что поняла слова эти, как дурные, оскорбительные для нее. Она промолчит и не скажет, что хотела бы вместо этих слов услышать от него слова простые, человеческие... Но почему же они все-таки, несмотря на их оскорбительный смысл, приятны ей, развлекают? – Ах, но потому, – с нетерпением ответила она себе, – что годы бегут, что не нужно терять ни одного часа, что в старости никто к ней в гости не придет и не скажет того, что теперь говорит Глинский.

– Я знаю, о чем вы сейчас думаете, – сказал Константин Андреевич.

– Нет, не знаете, – ответила она и, улыбнувшись, протянула руки за книгой.

– Мужчина, – ответил Глинский, – всегда знает, о чем думает женщина. *Сейчас* вы вспомнили об Иване Николаевиче, которого я люблю во всем, кроме его прав на вас.

– Да, я думала о своем муже, – солгала Елена.

– Ну, вот, – почти нагло сказал он, – видите, я был прав. Теперь угадайте, что я думаю о вас?

– Не знаю, – сказала Елена.

– Боитесь сказать? – спросил он.

– Боюсь, – ответила она.

Сердце у нее вдруг быстро, быстро забилося.

– Чего? – произнес он не своим голосом и осторожно придвинул к ней кресло, на котором сидел.

«Какой странный разговор, – подумала Елена, холодея, – и я не знаю, как его оборвать».

– Скажите, скажите, – попросил Глинский, переводя дыхание... – Хотите, я за вас отвечу? Вы боитесь признаться, что угадали в моих глазах любовь к вам. Правда? Отчего же вы молчите?

«Притворюсь, что ничего не поняла», – с тихим ужасом подумала Елена и встала, сделала несколько шагов и подошла к окну. Он тоже встал и пошел за ней, шепча ей что-то в спину и неотвязно думая лишь об одном: «Она будет моей... В конце концов ты будешь моей..».

Прощались они так:

– До свидания, Елена Сергеевна, – говорил он... – На днях непременно заеду за вами и увезу вас за город. На будущей неделе в четверг праздник. Наступает весна, земля за городом покрылась травой...

– До свидания, но я не поеду.

– Опять испугались?

– Нет, не испугалась.

– Значит, поедете, уверен, что поедете. До свидания, – тут

он приложился к ее руке. – В будущий четверг я у вас.

– До свидания, но в будущий четверг меня не будет дома.

– Странно, – со значительностью в голосе произнес он и подозрительно посмотрел на нее.

«Он, кажется, догадался, что я его поняла, а мне этого не хочется, – подумала она – Лучше рассею его уверенность, и он решит, что я ничего не заметила»

– Я пошутила, – выговорила она громко, – а вы и поверили... Приезжайте, непременно приезжайте.

Сказав это, она тотчас же пожалела, а когда осталась одна, то долго мучилась от своей глупости, от неумения найтись в нужную минуту. Ведь, в сущности, она ему назначила свидание, которого не хотела, о котором и не думала...

Но, в конце концов, что же дурного в том, что поедет со знакомым покататься за город? Какая катастрофа, какое мировое событие! Поедет ли она, не поедет, выслушает ли его глупости, или откажется, что изменится во вселенной и что в этом значительного?.. И все-таки, все-таки в данном ею согласии есть что-то нехорошее, и она не поедет с ним...

Вскоре пришли дети с прогулки. Она сначала страшно обрадовалась им, бросилась к Боре и стала страстно целовать его холодные розовые щечки, помогла раздеться Коле и пошла с обоими в детскую...

Коля тотчас затеял борьбу с Борисом. Потом бросил, обнял Елену и начал рассказывать длинную историю о гимназии, о товарищах, о географии... Елена с мучительным уси-

лием заставила себя слушать и думала: «Как я холодна к детям, как мне неинтересно с ними... Отчего это? Я ведь люблю их, я страстно люблю их!..»

Коля замолчал, мама плакала... Он по-детски крепко, порывисто обнял ее и услышал, как она шепчет ему на ухо:

– Я люблю тебя, Колюшка, я виновата перед тобой, я виновата перед всеми вами... Я люблю тебя, и географию, и твою гимназию, и твоих товарищей... У тебя волосы, как у папы, ты весь в него.

Коля не выдержал и засопел носом... Он тоже заплакал, и было хорошо обоим и хотелось, чтобы это длилось вечно...

\* \* \*

...Обед прошел чинно. Елена была очень сдержана, и мало ела, мысли ее витали далеко, и когда она случайно взглядывала на руки Ивана, так похожие на руки Глинского, то испуганно вздрагивала, холодела и мучилась от стыда.

Иван был очень весел, оживлен. Он рассказывал об адвокате, который обнадежил его насчет исхода тяжбы, о заводе, обращаясь то к жене, то к отцу и матери, шутил с детьми. Настроение его передалось и старикам, и к концу обеда оба они расцвели. Когда подали кофе, дети с бонной вышли... Поднялась и Елена.

– А кофе? – спросил ее Иван.

– Не хочу, – ответила она. – Я посижу в гостиной, пока вы

тут будете разговаривать. Я ведь в делах ничего не понимаю.

Николай Михайлович со значительным видом утер салфеткой густые седые усы свои, намокшие от кофе, бороду, смахнул пушинку с широких клетчатых брюк и закурил. Лукерья Антоновна, сделавшаяся от ожидания как бы еще тоньше, суше, чопорнее, подалась всем телом вперед и приложила руку к уху, чтобы лучше слышать...

Елена вошла в гостиную, зажгла электричество, взяла со столика какую-то книгу – ее привлек черный матовый переплет – уселась в кресло и с книгой в руках замерла... Из столовой доносился размеренный старческий хриплый голос Николая Михайловича, и Елена слушала и не понимала, как слушали и не понимали цветы в вазах, картины и старинные гравюры, развешанные по стенам, чудесные книги, разбросанные здесь в беспорядке, Шиллер и Шопенгауэр...

– Я знаю, – донесся из гостиной голос Ивана, – я знаю только один способ быстрой и верной наживы, но я к этому способу, папаша, не прибегну... А имение или закладные, как вы раньше предлагали, – вздор, нестоящее дело.

– Какой же этот способ, Ваня?

– Ростовщичество...

– Ростовщичество! – с презрением произнес Николай Михайлович. – Это недостойно тебя.

– Почему недостойно, папаша? Я, если правду сказать, лично против ростовщичества ничего не имею и не презираю этого способа наживы. В действительности, любое дело,

заводы, фабрики, эксплуатация имения, – все это есть не более как скрытое ростовщичество... Но если жить с людьми, то невольно приходится подражать им, лицемерить... Я и лицемерю и подражаю столько, сколько это нужно для моего спокойствия. Конечно, я отлично знаю, что займись я ростовщичеством, я мог бы при ничтожном риске наживать по двадцать четыре на сто, но... предрассудок, папаша. Я и смеюсь над предрассудками, но ничего не могу поделать...

«А я бы на месте Ивана сделалась ростовщиком, – вдруг будто кому-то сказала Елена... – Ведь я не верю ни в человеческую правду, ни в его мораль... Я бы назло стала ростовщиком».

И она спорила дальше...

«Нет, я бы еще больше сделала, будь я мужчиной... Вы говорите: не убей, а я бы убила; вы говорите: не прелюбодействуй, а я бы прелюбодействовала. Почему нельзя убивать, красть, грешить, делать зло? Чем это ниже спасения чьей-нибудь жизни, или жертвы во имя кого-нибудь, когда и то и другое одинаково не оправдано?...»

Она все еще продолжала спорить, все еще что-то доказывала, как услышала голос Ивана близко от себя:

– Ты уснула, дорогая моя, – нежно говорил он. – Я понимаю, как могли тебе надоесть наши споры...

– Разве я спала? – удивилась она и никак не могла вспомнить, о чем думала все время.

– Да, как будто, – ответил он и присел возле нее... – Зна-

ешь, Лена, – сказал он серьезно, – я хоть и разбил папашу на всех пунктах, а в сущности чувствую себя перед ним неправым, чувствую это внутренним ощущением... Старики знают какие-то тайны, которые нам, молодым, не дано постигнуть. В рассуждениях, например, в логике папаша слаб, а я чувствую, что он мог бы ответить мне настоящим, да не знает как. И ушел он огорченный, что не мог мне внушить своего, того, что знает его старческая мудрость... Идет он теперь с мамашей по улице, и вероятно, мучится и грустен... Я думаю, Леночка, когда мы постареем, то тоже какую-то тайну узнаем и так же тщетно будем умолять Колюшку и Бореньку, чтобы они нас послушали и сделали по-нашему...

При мысли о старости оба растрогались... Они так же будут любить друг друга, как и теперь... Для посторонних Елена будет только старенькая, сморщенная женщина, он – старичок, с палкой, покашливающий, а друг другу они будут приятны, как и сейчас, и даже, может быть, больше... Морщинистые лица, и кашель, и седина будут милыми, грустными, дорогими. Всегда они будут вместе... Дети разбредутся, и останутся они вдвоем уже навсегда...

– Время летит, летит, – сказал со вздохом Иван. – Нужно ловить каждую минуту и переживать ее ярко, чтобы потом не пришлось говорить с сожалением, – вот то-то я пропустил в молодости, а этого не узнал... Ах, если бы можно было задержать время, чтобы подольше насладиться ощущением молодости, здоровья и любви к тебе, к звукам, к крас-



кам, к мысли...

«Значит, ничего, что я слушала глупости Глинского, и в этом нет ничего дурного, – подумала Елена. – И я хорошо сделала, что не отказала ему... Но как похожи, Боже мой, как похожи его руки на руки Ивана!»

Иван встал, обнял Елену, жарко поцеловал ее в глаза, щеки, в шею, радуясь, что она такая красивая. Он говорил ей о своей любви и страдал оттого, что не хватало у него слов рассказать, как он чувствовал любовь к ней. И совсем хорошо сделалось, преобразилась действительность, когда они перешли в спальню, и она стала играть Моцарта.

Он ходил по комнате, слушал и, ошеломленный, думал: «Как чуден Моцарт для влюбленной души... Вот я уже не один, мы оба – одно, и не боюсь я ни разрушения, ни смерти. И так хорошо мне, что готов позвать смерть и в этом чувстве умереть!»

– День окончен, – сказала Елена, все играя и повернув к нему голову. – Еще один день... Надо, чтобы случилось неожиданное со мной, надо, чтобы оно потрясло меня...

– Зачем? – удивился Иван.

– Надо, – повторила она.

Она счастлива и оттого безмерно томится, оттого неспокойна и, может быть, несчастна... Куда-то рвется ее душа... Она вся еще в десяти заповедях и потому ее счастье – маленькое, неполное.

– А может быть, Иван, – произнесла она, – мое счастье –

только прозябание, тогда оно мне не нужно. Пусть сменит его несчастье...

– Десять заповедей, Иван, – сказала она опять, все играя, – убили человека, сделали его жизнь тесной, мелкой, серой, превратили человечество в кучу муравьев. Может быть, Иван, вся человеческая история с самого начала пошла ложным путем, криво... Может быть, первые философы, основатели религий, виновны в нашей жизни, потому что, вместо ликований, вместо великих мечтаний, великих борений и дел, человечество, восприняв их учение, заковалось в своем эгоизме и осталось с одними идеалами всяческой сытости.

– Это не я говорю, – произнесла она, – это говорит Моцарт... Послушай, как он стыдит людей, стыдит меня, тебя, как плачет по великому...

– Я не понимаю, что тебя взволновало, – испуганно произнес Иван, взглянув Елене в глаза... – Ты всегда молчишь, и, может быть, я тебя и не знаю по-настоящему. Расскажи мне, что в твоей душе? Я ко всему глух, кроме тебя. Я никого и ничего не люблю, никем не интересуюсь, кроме тебя. В жизни я, как хорошая машина, работаю исправно, но и равнодушен я ко всему, как машина. Для меня весь мир, это – я и ты, – и никого в нем, кроме нас, не существует. Скажи мне, что в твоей душе?

– Не знаю.

Моцарт молчит... Они гуляют по комнате, обнявшись...

Елена все еще как будто бы к чему-то прислушивается, необыкновенно взволнованная. Иван целует ее, ловит ее руки, целует, опять целует и говорит:

– Люблю тебя, люблю тебя.

Елена таинственно улыбается. Зрачки ее расширены...

\* \* \*

Установилась весна, теплые солнечные дни, и каждому думалось, что за городом должно быть прекрасно... Из окон видно было, как с утра город погружался в солнечное золото и горел до самого заката. Над скромными зелеными куполами церквей целые дни летали голуби... По улицам ходили, толкались люди, по-весеннему одетые, передвигались коричневые тени, и Елене казалось, что если сесть в дрожки, то можно ехать, ехать без конца, до самой смерти.

Часов в пять, – уже солнце клонилось к закату, – неожиданно явился Глинский... В тот четверг он не приехал, как обещал, и когда горничная назвала Елене его имя, она вдруг подумала: «А ведь я все время его ждала», и покраснела от своей мысли.

Он вошел, свежий, в светло-сером, высокий, стройный, жизнерадостный, пахнувший воздухом и солнцем, как будто из другого мира. Руку он поцеловал ей выше кисти, и, не садясь, тотчас же, торопливо, чуждым этой квартире голосом, сказал:

– Я за вами, Елена Сергеевна. Поедем за город, первые ласточки появились.

О ласточках он сказал так, будто все дело было в том, чтобы поехать их посмотреть, – и еще стал длинно объяснять, почему он не пришел в обещанный день.

– Что же мы будем за городом делать? – не дослушав его объяснений, спросила Елена.

– Как что, – странный вопрос! Буделл кататься, дышать воздухом...

– И я вдруг поеду? – будто с недоумением спросила Елена и вопросительно посмотрела на себя в зеркало.

– В этом-то и вся прелесть, Елена Сергеевна, именно вдруг... Здесь дети, муж, будни, кухарка, а вы шаловливо, назло, взяли да исчезли... Послушайте же, ласточки прилетели!

– Да... ласточки, это приятно, но если бы вы были женаты, то так не говорили бы, – возразила Елена.

– Елена Сергеевна, я никогда не женюсь, – солгал он. – Попробуйте оженить облачко. В жизни так много приятного, а мне и этот цветок хочется сорвать, и тот... Я, Елена Сергеевна, по правде говоря, и не понимаю, как могут мужчина и женщина сойтись серьезно навсегда.

– Вы странный человек, – отозвалась она, – и рассуждаете как ребенок.

– Нисколько... Подумайте, что выходит из прекрасной женщины после брака? Женщина-жена – женщина без тай-

ны, то есть смерть самого ценного, что нам дорого в человеке...

– Почему же вы остановились? Говорите до конца...

– Послушайте, Елена Сергеевна, – сказал он каким-то другим голосом, заметив, что она побледнела и, как ему показалось, обиделась. – Ведь все, что я сказал, не относится к вам. Вы, может быть, единственная, которая не подходит под общее правило. – Эти слова он говорил всем женщинам и потому произносил их хорошо, с чувством, и в голосе его появилась убедительность... – Только на вас замужество не оказало никакого влияния. Вы свежи, как девушка, чисты, и не обидно будет, если я прибавлю, что непорочны. Вы точно ласточка. Как это случилось, – он с недоумением поднял высоко свои густейшие черные брови, – не постигаю, но чувствую, что вы полны тайны, девичьего обаяния, и я... я кружусь подле вас, как зачарованный.

Она слушала, не глядя на него. Руки у нее чуть дрожали, и когда он кончил, ей вдруг пришла мысль, что если бы Глинский снял манжеты, воротничок, галстук и светло-серый сюртучок с розой в петлице, то перед ней очутился бы высокий, с тонкой, длинной шеей и странными бровями незнакомый мужчина. – Она, наверно, от страха закричала бы. Но вот он одет... и ничего! Говорит Бог знает что, а она спокойно выслушивает... Как это странно!

И, подумав об этом, она про себя рассмеялась тому, что Глинский приезжает к ней, ухаживает, может быть, чего-то

ждет от нее, между тем как в действительности она его презирает...

«Какой он не чуткий, – сказала она себе и улыбнулась, – и все-таки я поеду с ним, потому что мне это интересно, чего-то нужно, и я сама не знаю чего».

– Как понять вашу улыбку? – спрашивал Глинский, сделав наивные, как он полагал, нравящиеся женщинам, глаза.

– Угадайте...

– Едем же, едем, – скользя по гостиной, весело и громко сказал Глинский, с радостью почувствовав вдруг, что этой улыбкой она сказала ему все: что согласна с его взглядами на семейную жизнь, рада его приезду, будет сидеть тихо и покорно, когда он за городом обнимет ее, и что даст целовать свои свежие, розовые губы и пахучие руки.

– Я пойду одеваться, Константин Сергеевич, – сказала Елена. – Ждите меня терпеливо. Тут книги, только не курите много, – муж не курит, и ему будет неприятен запах табака. Вас это не стеснит?

– О, несколько, – ответил он, идя за ней. Она скрылась в соседней комнате, плотно притворив дверь за собой, а он сел в кресло и тотчас же, как бы назло закурил.

Елена, очутившись в спальне, лихорадочно быстро начала одеваться... Перебирая платья, она вынула то, которое больше всего шло к ней, и удивилась.

«Какая я странная, – подумала она, – и сама я себя не понимаю... Ведь мне несколько не интересно понравиться ему,

а я все-таки выбрала платье, которое лучше всего идет мне. Состороны можно было бы подумать, что мне именно этого хочется. Какая неправда! Почему же я это делаю и почему мне не стыдно того, что делаю?»

На ее звонок пришла горничная крадущимися, неслышными шагами, очень довольная, что барыня уезжает с чужим барином, и стала застегивать платье на ее спине, улыбаясь своим мыслям. Елена же приоткрыла чуть-чуть дверь в гостиную и сказала громко:

– Вам еще не надоело ждать, Константин Сергеевич?

– Нет, нисколько, – ответил он, вставая; голос его издали показался ей незнакомым, некрасивым. – Забудьте о том, что я жду вас.

– Давайте разговаривать, – смеясь произнесла она... – через дверь.

– Давайте, – весело ответил он, делая усилие разглядеть ее в черную скважинку.

– Вы верите в Бога?

– Вот что вам интересно?.. В Бога? – переспросил он. – Пожалуй, верю, – подумав, сказал он.

– И живете по заповедям?

– Кажется, что так, – рассмеялся он... – Впрочем, не все исполняю свято.

«Как он далек от моей души», – вдруг в порыве тоски подумала она и, помимо своей воли, сказала откровенно:

– А я не верю ни в Бога, ни в заповеди.

– Seriously?

– Seriously...

«Зачем она об этом? – спросил себя Глинский. – Ах, понял... вероятно, намек, – какой же я недогадливый».

– Если правду сказать, – с поспешностью выговорил он, – то я тоже ни во что не верю... абсолютно.

– Все же я думаю, – как бы дразня его, сказала Елена, – что вы хотя и не верите ни во что, однако дурного не сделаете.

«Кажется, ей нужен мой ответ, что я способен сделать дурное», – подумал Глинский и сейчас же проговорил с жаром:

– Нет, сделаю, Елена Сергеевна... Что захочу, то и сделаю.

– Например, влюбите в себя женщину, – но этого уже никто и дурным не считает.

– Нет, я способен на все, Елена Сергеевна, уверяю вас.

– А подделаете ли чужую подпись на векселе?

Он опешил... Вся его развязность, любовное настроение вмиг исчезло.

«Не понимаю, чего она хочет от меня, – подумал Глинский. – Может быть, денег или просто выпытывает. Зачем это? Ведь я хочу только обнимать ее, целовать, сделать своей любовницей... Какая странная женщина».

И ему сделалось неприятно, что он приехал сюда, что, может быть, всю дорогу надо будет поддерживать такой неинтересный разговор.

– Нет, не сделаю, – брезгливо сказал он, – но потому, что это просто... ну, не эстетично...



– А я бы сделала, – искренно произнесла она. – Я бы все могла сделать. Если только одну минуту подумать, что человечество по существу ничем не отличается от кучки муравьев, то можно все, что угодно, сделать... Нет, это все не то, я думаю иначе, а на словах выходит Бог знает что.

На этом разговор оборвался... Она была уже одета, и когда появилась в гостиной в открытом нежно-розовом платье, стройная, непохожая на других женщин, Глинский ментально забыл неприятный разговор и издал восклицание восторга.

– Как вы хороши, как прелестны! – вырвалось у него. Он искренно был поражен и тронут ее красотой. – Сейчас у меня единственное желание: взять осторожно вашу руку и поцеловать ее почтительно.

Он так и хотел сделать, но она, странно довольная, веселая, не дала ему руки и велела горничной принести шляпу.

На лестнице, как только дверь закрылась за ними и щелкнул замок, Глинский без спроса взял Елену под руку... Она с каким-то жестом стыдливости высвободилась и стала быстро спускаться вниз, держась за перила. Глинский остался позади... Вынув папиросу из серебряного портсигара, со многими надписями и монограммами, он закурил и, весьма довольный этим началом, последовал за ней.

На улице Елена все еще торопилась, шла впереди Глинского и лишь успокоилась, когда уселась в просторную, чистенькую коляску. Он сел рядом с ней и сказал кучеру куда

ехать.

Было так хорошо вокруг, что Елена все порывалась сказать:

– Ваничка, посмотри, как красив сегодня закат!

Или:

– Ваня, какой чудесный воздух!

Все казалось ей необычным: догоровший весенний день, темно-желтевший, задумчивые зеленоватые дали, такой же темно-желтый купол неба, чудесный, синеватый воздух, пахнувший именно так, как она себе представляла, влажными полями, – и даже этот чужой, сидевший рядом с ней... И рождалось в душе какое-то необыкновенное ощущение легкости, беспечности, хотелось улыбаться... Казалось, что ей теперь все можно, и, что бы она ни сделала, что бы ни сказала, как бы ни посмотрела, будет непременно красивым, изящным, будет нравиться, как единственное, неповторимое.

Она сидела ровная, стройная, какая-то легкая, отличная от всех женщин, чуть подавшись вперед, и радовалась как ребенок, когда встречные останавливались и глядели ей вслед. Приятно было и то, что она нравилась Глинскому, от которого все же отделяли ее миллионы верст, хотя он и сидел рядом с ней. И когда отвечала встречным знакомым едва заметным кивком головы, – то говорила, неизвестно к кому обращаясь, к Глинскому или вот к тому прохожему:

– Он непременно расскажет жене своей, что видел меня с

вами, – и тихо смеялась, не зная чему.

Но Глинский знал, отчего она улыбалась... сам улыбался, и осторожно, чтобы не испугать, округлив руку, обнял ее.

Предлог он тотчас же придумал: ей будет удобнее сидеть.

– Я уверен, – вкрадчиво сказал он, – что каждый теперь завидует мне, завидует тому, что я сижу рядом с такой прелестной женщиной... Давайте шалить... Поверните ко мне лицо. Пусть каждый думает, что вы моя жена.

Она почувствовала на спине и на боку его тяжелую, точно из свинца, руку, вздрогнула и осторожно сделала движение, чтобы освободиться... Но все было так хорошо вокруг, так гармонировали даже его слова с сложным ощущением радости, которое она испытывала, что невольно послушалась его и чуть-чуть повернула голову... Взглянув ему в глаза, она вдруг с тихим испугом откинулась назад...

Кто-то кланялся ей, и Елена машинально ответила на поклон. Она узнала Елецкого и Болохова и покраснела... Глинский несколько раз помахал в воздухе мягкой шляпой, и так как коляска в этом месте повернула, то смело прижал Елену к себе, с таким чувством, будто она ему уже принадлежала... Ему пришло в голову, что теперь, когда он ее уже обнял, как раз время сказать то, что хотел сказать раньше.

– Я не сомневаюсь, – произнес он с уверенностью, – что если кто-нибудь считает нас с вами мужем и женою, то думает и о том, как страстно я обнимаю вас дома и как целую вашу шею, ваши губы...

«Я, кажется, дурно сделала, что поехала с ним, – подумала Елена с тяжелым чувством, боясь оглянуться на Глинского. – Он говорит пошлости... и меня очень беспокоит его рука, а я не знаю, как сказать ему, чтобы он принял ее».

Ссориться, однако, ей не хотелось... Как решиться уничтожить прекрасное, что сейчас живет у нее в душе?..

– Мне кажется, – мягко ответила она, – такие мысли никому не приходят в голову. В них нет ничего интересного.

– Вы очень мало, Елена Сергеевна, знаете людей, – сказал он, скользя пальцами по ее спине. – Они именно подумают о том, о чем я вам сказал. При виде красивой женщины рядом с мужчиной только такие мысли и приходят в голову. Если бы вы знали мужскую душу, как я, – продолжал он, касаясь пальцами ее спины все откровеннее и настойчивее...

– Мне... неудобно, – с усилием произнесла она, делая, однако, вид, что не чувствует его касаний пальцами, даже не обратила внимания.

– Простите, быть может, я вас обеспокоил, – лицемерно-вежливо и предупредительно сказал Глинский, чуть отодвигаясь от нее...

«Он думает, что я не заметила, – успокоила себя Елена, – краска разлилась по ее лицу оттого, что она заставила себя сделать ему замечание. – Слава Богу!»

– Я хотел сказать, Елена Сергеевна, – настойчиво продолжал Глинский, – что мужчина, увидев красивую женщину, тотчас начинает бесстыдно думать о ней.

– Ну, вот еще, – вспыхнула, она, однако, удивленная не тем, что он сказал ей, – она и от мужа знала, какие бывают мужчины, – а тем, что Глинский осмелился откровенно говорить об этом.

– Да, конечно, – подтвердил он, удивляясь ее наивности, – вы совсем жизни не знаете, – и опять прижал ее крепко к себе, радуясь, что ощущает сквозь мягкую ткань ее тело, такое теплое, круглое, как бы прильнувшее к его руке.

Она опустила голову, не зная, как ей быть, испуганная мыслью, что теперь он, несомненно, уверен в том, что она чувствует его частые неприличные объятия.

Все ухаживавшие за ней, да и он сам до сих пор, не позволяли себе никакой вольности, а тут началось сразу, и как прекратить это, она не знала. Если сказать ему, то своими словами она признает, что он вел себя оскорбительно с ней, что обнимал ее, но она этого не может дать ему понять. Конечно, ее вина: надо было оборвать с самого начала...

«Но разве я в самом деле оскорблена? – пришло ей в голову. – Ведь я стыжусь только потому, что он считает это оскорбительным для женщины... В действительности же, в том, что он делает и говорит, нет ничего страшного, и оно гораздо ужаснее, когда думаешь об этом».

Они были уже за городом. Коляска катилась посередине длинной, как будто бесконечной аллеи. Сразу стих шум, и наступила приятная зеленая тишина.

Отчетливо звучали удары копыт о мягкую, теплую, уже

пыльную землю... Щегольской извозчик изредка причмокивал губами. Деревья белели нежно вдали своими стволами и, казалось, без оглядки убегали от кого-то...

С левой стороны вырисовывались лиловые оконца крошечных домов, и думалось о том, что в этих домах, когда стемнеет, вероятно, будет грустно.

– Через несколько минут, – сказал Глинский, – мы поедем к загородному ресторанчику. Если вы устали, мы можем сойти и добраться туда пешком. Это недалеко.

Она обрадовалась его предложению. Сейчас он примет руку с ее спины, и опять станет хорошо, необыкновенно легко, как раньше.

Когда они сошли и извозчик уехал вперед, Глинский тотчас же без спроса взял ее плотно под руку, высоко у плеча, и, мешая ходить, начал, будто шутя, рассказывать небылицы, но голос его дрожал от волнения...

Если бы можно было, если бы Елена не была так пуглива, если бы он совершенно не боялся ее, то, конечно, повел бы ее не к ресторанчику, уже видневшемуся, а в сторону, к деревьям, стволы которых только что от заката порозовели на глазах.

Он совсем не разбирался в ее чувствах, и его мало интересовало, что она думает о нем... Ему казалось, что он безошибочно знает ее мысли и во всем одобрен, чтобы он ни сделал. Раз она поехала с ним, то, конечно, знала с какой целью – не девочка же, – подумал он о ней, – знала, что и он

ради этой цели поехал и, значит, примет все, что случится, как хорошее и приятное. Разве он в чем-нибудь переступил границы приличного, дозволенного? Ведь всякое иное отношение к ней непременно показалось бы ей дурным, недостойным мужчины, и она, наверное, почувствовала бы себя оскорбленной... Она бы заподозрила самое ужасное, что пугает и отвращает женщину от мужчины, и потому всеми своими словами и поступками он исполнял только то, чего от него ждали... О чем бы они разговаривали, если бы их не связывало это тайное? Неужели о знакомых или опять о Боге? Каким неуместным, глупым и мучительным показался бы такой разговор здесь, за городом, и как быстро летят минуты в этом хождении вокруг самого главного.

Его уверенность покоилась на этих простых, ясных мыслях, которые даже не рождались в голове, а были как бы прищипаны ему. Он здоров, силен, смел и все остальное должно уже идти само собой, инстинктивно, рождая ряд милых, приятных душевных переживаний и вызывая прелестный сказочный обман, что во всем мире их только двое: он и она... И он шел, что-то шептал, держа плотно ее руку высоко у плеча...

В ресторанчике они сидели долго. Глинский выпил чашку крепкого кофе, Елена попросила чаю. Говорил он много и все о том же и снова о том же, а она лишь изредка кивала головой, пыталась улыбнуться...

Несколько посетителей, сидевших за столиками, снача-

ла беспокоили их своими любопытными, вопрошающими взглядами... Елена не знала, куда глаза девать, чувствовала себя неловко, но когда решила мысленно, что расскажет мужу о прогулке, то постепенно успокоилась. Заторопилась же она, как только увидела в окно, что потемнело.

На улице Глинский опять без спроса взял ее под руку, но так как было темно и никто этого не видел, Елена ничем не выдала своего недовольства.

«Он очень назойлив, – думала она, – и я больше с ним не поеду гулять, никогда не останусь с глазу на глаз», однако вздрогнула, когда Глинский перехватил ее талию рукой... Она остановилась, посмотрела с тихим упреком ему в глаза и быстро пошла к извозчику, терпеливо ожидавшему их прихода.

– Это наш? – отрывисто спросила Елена; в голосе ее слышалось волнение.

– Да, наш, – ответил Глинский, почувствовав, что ее волнение передалось ему.

– Поедем скорее, мне пора, – с беспокойством выговорила она. – Вероятно, муж волнуется.

«Я сказала: муж, – подумала Елена, – а в сущности чувствую так, как будто у меня нет мужа. И это оттого, что Глинский обращается со мной, как с вещью».

Оба сели. Она отодвинулась сколько могла, чтобы не ощущать рядом со своими его твердых колен, и когда он, как она боялась и ожидала, все-таки придвинул их, ей сделалось гад-



ко.

– Пошел медленно! – сказал Глинский извозчику.

Голос его показался ей незнакомым, неприятным, точь-в-точь как днем.

– Нет, не медленно, а поскорее, мне, в самом деле, поздно, – стараясь думать, что не просит, а приказывает, произнесла Елена.

– Умоляю вас, Елена Сергеевна! В городе мы поедем так скоро, как вам этого захочется, а сейчас, Елена Сергеевна, разрешите ему ехать медленно. Здесь так хорошо... Разве вам не жаль расстаться с этой волнующей тьмой, с этим глубоким звездным небом... Вслушайтесь, какие звуки идут от земли.

Она не ответила и очень осторожно отодвинула свои ноги. Глинский понял это движение как знак и подумал, что теперь Елена ждет от него того, ради чего поехала с ним.

И хорошо было и кстати, что она вспомнила о муже, иначе он бы заключил, что она ему бросается на шею.

«Какая предусмотрительная», – одобрил он ее.

И как только он таким образом объяснил себе ее слова и молчание и понял, зачем она отодвинула ноги, то вдруг заволновался, осмелел, наперед зная, что ему уже ничего не будет.

– Вам не показалось странным то, что я сейчас сказал? – неожиданно спросил он ее.

– Станным? – с удивлением произнесла она, ясно помня,

что он ничего не сказал.

– Значит, вы меня не слушали! Я сказал, что если бы мы остались вдвоем, в целом мире одни...

– Как так? – тихо спросила Елена.

– Да уж не знаю, ну, катастрофа какая-нибудь, это ведь не важно. Надо только представить себе, что все умерли, и мы с вами остались одни в мире: вы с своей любовью к мужу, а я влюбленный в вас. Знаете ли, чем бы это кончилось?

– Чем же? – спросила она, невольно испугавшись при мысли о смерти мужа.

– Вы бы очень скоро влюбились в меня. Как оно ни странно, как ни кажется сейчас невозможным, но это непременно случилось бы...

– Вы думаете? – гордо сказала она, досадуя на его уверенность.

– Ну, конечно... Что же бы вам осталось делать? Одна во всем мире... Вы бы даже безумно влюбились в меня и, вместо того чтобы сидеть так как сейчас, мы сидели бы, близко прижавшись друг к другу... Ведь в мире, по моему предположению, никого нет, – закончил Глинский, вдруг взяв ее руку.

Отвернув перчатку, он поднес ее теплую руку к губам и стал быстро целовать надушенные пальцы.

От неожиданности она как-то неловко дернулась и отвернулась обиженная...

То, что она опять ничего не сказала, он понял как благо-

приятное, как поощрение, будто она сказала:

– Не пугайтесь того, что я отвернулась, целуйте еще, обнимайте меня, делайте, что хотите, ведь мы для этого поехали.

– Больше не буду, – слышался его голос. – Дайте мне только вашу руку, и я минуточку подержу ее и извинюсь перед ней молчаливым пожатием. Дайте же, дайте, умоляю вас.

И он так и сделал, как сказал, хотя она и не хотела. Дала же она руку только для того, чтобы он перестал просить, говорить оскорбительным, молящим голосом и еще ради того, чтобы извозчик не услышал его слов.

Взяв руку и освободив ее от перчатки, которую спрятал в карман – на память, как он сказал, Глинский тихо пожал ее.

Волновала синяя теплая ночь, и звезды, и ветер в листве деревьев, и мягкая ладонь женщины, а запах духов, шедший от нее, туманил, как будто говорил:

«Так пахнет вся она, ее рука доплеч, прижмись к ним и испытаешь наслаждение. Прижмись, только это нужно сейчас делать, пока вы вдвоем и темно вокруг... Она будет молчать, потому что для этого поехала».

– Вы видите, – сказал он, – я благороден, я оставил вашу руку, как обещал, но, клянусь вам, вы мучаете меня, – произнес он, точно имел уже право жаловаться ей на свои страдания.

– Вы говорите очень громко, – отозвалась шепотом Елена. – Лучше переменим разговор, – попросила она, чувствуя,

что ей уже нельзя приказывать.

– О чем же нам говорить? – каким-то чужим голосом спросил он. – О чем? – повторил он отчетливо и, неожиданно для себя, вдруг притянул ее к себе и прижался губами к ее щекам.

– Я люблю тебя, – зашептал он, – давно, давно, дорогая моя; люблю твои глаза, твои руки; люблю всю, всю.

Елена так испугалась, что даже не вскрикнула... Лишь инстинктивно она стала сопротивляться, сильно, серьезно. Сначала ее неприятно поразил запах табака, когда он поцеловал ее в губы, и несказанно удивило прикосновение густых жестких волос его коротко подстриженной бороды. Самое же мучительное было – стыд, и то чувство, хуже стыда, что теперь ей нельзя уже притворяться, будто она не понимает, не заметила, не почувствовала, что он делает... Она боролась молча, стараясь не обратить внимания извозчика, и защищалась мысленно такими словами: «Что вы делаете, как не стыдно! Я не хочу ни ваших поцелуев, ни объятий... Поймите, мне этого совсем не нужно. Вы ошиблись! Ваши объятия меня серьезно оскорбляют... Умоляю вас, перестаньте, я не шучу, я сопротивляюсь серьезно, клянусь вам!»

А он все целовал, обнимал. Она бы, вероятно, закричала, если бы не стыд перед извозчиком... В один миг он уже знал всю ее, то, что она так искренно и стыдливо прятала от всех людей, кроме мужа. И мысль об этом так потрясла ее, что минутами она переставала сопротивляться. А он все обни-

мал и целовал, обнимал, целовал...

\* \* \*

В городе, как только они очутились на людной улице, она попросила его сойти. Он стал было извиняться, но сейчас же замолчал, почувствовав, что этого не нужно, и, целуя уверенно и многократно ее руку, которую она уже не отнимала, сказал:

– Вы правы, поезжайте с Богом одна. Я на днях заеду к вам.

Елена даже не ответила на его слова кивком головы, и когда его высокая, страшно противная ей фигура скрылась в полутьме, она отпустила извозчика, кликнула другого и поехала домой.

В городе было шумно и светло, призрачно красиво, как бывает в концерте или в театре, где забываешь о том, что есть небо и не приходит в голову поднять глаза вверх. Елена, сидя в дрожках, торопливо обдумывала, что с ней случилось, и удивлялась своему негодованию против Глинского.

«Почему я сержусь на него, – говорила она себе, – ведь, в действительности, он ни в чем не виноват передо мною... Сам он мне глубоко противен, но теперь я поняла, что точно так же поступил бы каждый мужчина на его месте. Конечно, он развратный, бесстыдный, но я ведь для него и разоделась и рада была, что нравлюсь ему, и я во сто раз преступнее,

хуже и гаже Глинского, – с ужасом подумала она. – И странно, – вдруг пришло ей в голову, – что, начав с вечности и бесконечности, мучаясь от чего-то большого, непостижимо-го, я, хотя и невольно, кончила пошлостью и гадостью».

...По лестнице она поднялась быстро и легко, нетерпеливо позвонила и, угадав в передней шаги Ивана, на миг затаилась, как бы вся закрылась от него.

Иван шумно, радостно встретил ее... Прибежали дети, весело крича: «Мама пришла», показалась горничная. Детей Елена расцеловала и тотчас пошла в гостиную. В гостиной было темно. Иван, как только они остались одни, крепко обнял ее и прижался губами к ее горевшим щекам.

– Ты пахнешь табаком, – с легким отвращением, которое испытывают некурящие, удивленно сказал он.

– Разве? – спросила она, тоже будто удивленная.

«Я отлично разыгрываю удивление», – подумала она, холодея.

Она с тяжелым чувством обняла его и, неизвестно почему, еще раз ответила:

– Если ты настаиваешь, что я пахну табаком, то так, вероятно, и есть... Пойду умоюсь, и это пройдет.

Но он не отпустил ее, пошел с ней и, обнимая и мешая ходить, как Глинский, говорил на ухо:

– Где ты была, почему так долго не возвращалась? – Он поцеловал ее. – Иногда спрашиваю себя, нужно ли, чтобы я так любил? Подожди, я обниму тебя. – Он обнял ее. – Вот

чувствую, что я исчез, что меня нет... Я слился с тобой.

«Как он любит меня, – подумала она, – а я спокойна. Мне приятно, что у него мягкая, шелковистая борода и что весь он чистый, ясный..».

Платье уже лежало на полу, как свернутая змея. Она стояла полураздетая, что-то отвечала на слова Ивана, но в душе ощущала пустоту и чувствовала, что Глинский в чем-то испортил ее жизнь.

Ласки Ивана не трогали ее, скорее были неприятны. Ведь Глинский так же страстно, с таким же жаром обнимал ее, целовал, и в этом, помимо своего унижения, она теперь чувствовала и унижение Ивана. В чем-то оба сравнились в ее глазах, и в чем-то стали одинаковыми, подобными, и было больно сознавать это, странно удивляло.

Весь вечер она избегала Ивана, пряталась от него и, под разными предлогами, то сидела в детской, то с бабушкой у окна. Потом она много, до усталости, играла, стараясь ни о чем не думать, но и в музыке не нашла успокоения.

Иван уже лежал в кровати и терпеливо ждал ее. Она легла, дала себя обнять, но была загадочно молчалива.

Сон не приходил, хотя она и звала его. Иван лежал рядом и мирно, со счастливым лицом, спал. Она осторожно положила руку под голову и долго всматривалась в него.

«У него широкий лоб, – думала она, – а у Глинского высокий... У него губы красные, но и у Глинского красные... У него такие же руки, как у Глинского. Если долго вглядывать-

ся, то перестаешь разбираться, в чем разница между Глинским и Иваном».

Она испугалась этой мысли и, чтобы перестать думать, поцеловала его.

«Ведь я так же легко могла поцеловать и Глинского, – пришло ей на ум, – и нисколько бы оттого не изменилась. Как ужасно все, что я теперь думаю», – с отчаянием сказала она себе.

И снова потянулись мысли... о вечности, о мирах, о том, что Бога нет, и не понимала, почему, если ей все можно, она совершила дурное, а не хорошее.

Она долго еще мучилась, но, наконец, не выдержала, осторожно встала, выпила брому и начала ходить по комнате. Сердце у нее часто билось и казалось, что в комнате нет воздуха. Подойдя к окну, она приоткрыла и выглянула на улицу. Промелькнул силуэт прохожего.

«Вот, если бы так, вдруг умереть, – пронеслось у нее, – и наступил бы конец всему-всему».

Она закрыла ставень и снова начала ходить. Опять почувствовалось, будто из комнаты выкачали весь воздух. Но она уже не страдала от этого, а радовалась... Руки ее поднялись к шее, словно она хотела задушить себя, но не за грех, – она теперь не считала того, что произошло с ней, грехом, – а за другое... Ведь, что бы она ни сделала, ей уже никогда не уйти, не заполнить бездны, которую она увидела, поняла...



\* \* \*

Через неделю явился Глинский, но Елена его не приняла, сказавшись больной. Прошла еще неделя, он опять пришел, – Елена и во второй раз его не приняла. Спрятавшись за дверь в гостиной, она слушала, как он задавал вопросы горничной, и голос его почему-то волновал ее. Она едва удержалась, чтобы не выйти и сказать:

– А я ведь дома и совершенно здорова. Как я рада, что вы пришли.

«Я – сумасшедшая, испорченная, дурная, – думала она. – Я ведь его презираю и знаю, что буду мучиться, когда останусь с ним с глазу на глаз. Чего же я хочу?»»

\* \* \*

...Уже был май, уже пышно расцвели деревья, посаженные рядами, вдоль домов, как вдруг, неожиданно, заболел Иван.

И вот Елена, еще вчера не находившая себе места от тоски и недоумения, сразу забыла обо всем, что ее угнетало.

В один миг перестали существовать и непонятное и греховное, рождавшие страдание мысли и совести, уничтожилась ее связь с бесконечным, с миллионами верст, с вечностью, и затерся, заглох в душе образ Глинского.

«Если я считаю жизнь ничтожным, пустым даром, человечество только огромным муравейником, и потому мне все можно, то почему, вместо того чтобы позволить Глинскому обнимать себя, я не убила детей своих, не отравила городского источника, или не сделала попытки поджечь город, чтобы преступление хоть как-нибудь отвечало моему пониманию».

Сегодня же она, под влиянием действительного несчастья, неожиданно обрушившегося на нее, ходила по комнате и шептала:

– Если болезнь Ивана серьезна, я не перенесу удара. Господи, сделай, чтобы болезнь его была пустячной. Только этот раз исполни мою просьбу, я обещаю Тебе так беречь Ивана, что больше он не заболит. Господи, я часто бранила Тебя, но душу мою Ты ведь знаешь. Ты знаешь, что в глубине я, хотя и браню Тебя, отрицаю и не постигаю, как можешь Ты существовать, все же верю, страстно верю в Тебя, и я ни в чем не виновата перед Тобой...

Сегодня она еще так думала: «Кухарка рассчиталась, съезжу в контору, прикажу прислать другую, приглашу доктора, хотя Иван и не соглашается. Кстати доктор и новую кухарку осмотрит».

Так она и сделала и не заметила, как окрепла душой от суеты и беспокойства.

Когда явился доктор, Иван поморщился, – он безотчетно боялся докторов, – но, чтобы не огорчить Елену, согласился принять его.

Доктор осмотрел Ивана, постучал где нужно молоточком, выслушал сердце и стал считать пульс. Лицо его было непроницаемо и серьезно.

Елена следила за всеми его действиями, неестественно улыбалась и делала вид, что не боится, не беспокоится, сама же едва держалась на ногах от волнения. Сейчас судят ее милого, дорогого Ивана. От приговора доктора зависит вся ее жизнь. Или она – несчастная вдова, или счастливая жена с непрерывными радостями.

«Господи, Господи, – молилась она. – Сделай, чтобы были непрерывные радости. Я уже не скучаю. Я не страдаю больше от счастья».

Когда доктор объявил, что серьезной болезни сердца нет, и объяснил недомогание нервным переутомлением, которое пройдет, если отдохнуть как следует где-нибудь у моря, Елена сразу повеселела, забыла о Боге и уверенно сказала:

– Я так и думала, доктор. Откуда вдруг сердечная болезнь? Это все мнительность Ивана, а я ни одной минуты серьезно не верила. Кстати, доктор, у меня к вам просьба, я взяла новую кухарку. Что, если бы вы ее осмотрели?

Сидела она в это время на кровати подле Ивана, он незаметно целовал ее пальцы.

После осмотра кухарки к доктору, уже без спроса, подвели и бабушку, которая долго не хотела идти, но пошла потому, что Елена попросила ее.

На доктора бабушка посмотрела очень внимательно и за-

гадочно улыбнулась. Она ничего не сказала, дала осмотреть себя, но с таким равнодушием отвечала на его человеческие вопросы, что ему стало неловко. Увидел он, что перед ним стоит человек, может быть, даже и не живой, уже за гранью живущего, за гранью того, что имеет отношение к нему, доктору, за гранью законов, которые были ему известны. Показалось ему вдруг, что он находится перед вечностью. И лишь только он так подумал о бабушке, то сразу понял, как смешно, неестественно ощупывать эту вечность, выслушивать ее, давать советы.

«Удивительно странная старуха, – сказал себе доктор, почувствовав как мурашки побежали по его спине... – Никогда я не видел ни глаз таких, ни такой улыбки».

И молча отошел от нее.

Днем пришел студент, новый репетитор Колюшки, старый внезапно был вызван к своему заболевшему отцу. Елена приняла студента в столовой, рассказала ему о Колюшке, обрисовала его характер, советовала на что обратить внимание, говорила о его способностях и многое другое в таком же роде.

Студент, юноша с маленькими усами, голубоглазый, в поношенном мундирчике, слушая ее то быструю, то плавную речь, замечтался о другом и раза два очень внимательно посмотрел ей в глаза.

Она тотчас же покраснела и, досадуя на себя, оборвала разговор и вышла.

«Как странно, – думала она, – когда он посмотрел на меня, то сделался похожим на Глинского и Ивана. Я узнала что-то новое, чего раньше не знала. Я как будто открыла ту дверь, к которой мне было запрещено подходить..».

В доме все пошло по-старому. Доктор приходил каждый день и каждый день повторял одно и то же:

– Уезжайте отсюда, вам надо лето провести у моря.

Ивана навещали родные и знакомые. Глинский был два раза и оба раза держался как заговорщик: будто Елена ему принадлежала, а он из благородства позволил ей остаться с Иваном. Елена очень мучилась от его посещений, когда же он уходил, к ней возвращалась веселость и спокойствие.

Гости приходили ежедневно... Все выражали Елене сочувствие, соболезновали; ежедневно Елена надевала другое платье и была красива, как никогда еще. Она сидела с гостями в гостиной, – к Ивану, которого почему-то держали в кровати, никого не пускали, – слушала, улыбалась, иногда отвечала, а больше молчала.

Гости говорили о том, что жизнь вздоржала, что жизнь скучна, сера, и многое в таком же роде; рассказывали, что в театре идет новая пьеса, что на днях приезжает знаменитый певец, и Елена, слушая разговоры дам, думала про себя, что все они считают ее образцовой женой и что никто не догадывается о ее тайне.

«А что если, – приходило ей в голову, – и они такие, как я? Я считаю их недоступными, чистыми, как они меня, а,

между тем, каждая, выйдя от меня, может быть, спешит на свидание. Ведь настоящая наша жизнь есть та, которую мы не показываем, а тщательно скрываем».

...Вечером она сидела с Иваном, и между ними началось то привычное, приятное, что так крепко соединяло их, – началась та радость, когда каждое слово приобретает иной смысл и помещает в душе милые чувства нежности и тихого упоения.

– Почему я люблю тебя? – спрашивал Иван, обнявши ее. – Почему ты мне кажешься лучшей и воплощением красоты и изящества, почему ты каждый раз новая? Потому что я не знаю тебя, потому что ты – моя и ничья... Я люблю тебя вечером больше, чем днем. Ты – та же, но другая... Твоя улыбка загадочна и голос твой как будто несется из вечности и несет меня к новой вечности. И еще потому я люблю тебя, что ты странная, какая-то необыкновенная.

И ей он кажется иным... Это не Иван, с шелковистой круглой бородой, в мягкой сорочке, – а вечный «он», владеющий тайной волновать ее существо... Себя же она чувствует единой в мире, который подчинен ее воле... Движением ресниц она создает моря, небеса, движением ресниц она уничтожает их. Движением ресниц она создает потрясающие мелодии, чтобы ярким пламенем зажглось ее сердце, чтобы воскресли в ее памяти ушедшие тысячелетия и, послушные ее воле, поют миры...

И снова они земные. Таинственное чудо преображения

кончилось: они опять в своей квартире, она уже не единственная, он – Иван, и скукой веет от каждого угла.

Только что он говорил:

– Днем твои руки белые, розовые, ты вся белая, розовая, а вечером ты, – таинственная, чужая.

А теперь она слышит:

– Я уже две недели не работаю... На заводе без меня нет порядка. Управляющий – хороший человек, но мямля. Да, некстати эта дурацкая болезнь.

Только что он говорил:

– Хочу, чтобы это вечно продолжалось... Глядеть на тебя и думать, что ты таинственная – необыкновенное наслаждение.

А теперь он продолжает:

– Дай мне свежую сорочку... Если бы я был рантье, я жил бы только в Англии, и дети получили бы великолепное воспитание.

Она дала ему сорочку и думала: «Почему я с такой необыкновенной ясностью чувствую пошлость этих слов?..»

И от мысли, от этой сорочки, от того, что уже ушла радость, только что жившая в ее душе, ей хочется убежать куда-нибудь, забиться, как птица, в угол.

...Она сидит за роялем и играет. Наконец, она говорит:

– Мы уедем, Иван, на все лето.

И думает: «как удивится Глинский, когда узнает, что я уехала».

Иван лежит на кровати... Звуки рояля едва доходят до него. Они доходят, но смутно, как приятный шум. То вдруг кажется, что длинные, желтые стрелы падают в золотое озеро, а то ничего не слышит... Лицо у него очень бледное. От слабости заметно дрожат его желтые, сложенные в кулаки руки на белой простыне, и думает он не об обычном, а о трагическом.

– Да, да, – отвечает он желтым стрелам, летящим в золотое озеро, – мы поедem к морю. Доктор хорошо придумал.

А чуть поглубже идет свое, интимное, развивается другая мысль, бороздит его лоб темными морщинами и делает взгляд холодным, мертвым.

«Если бы я сказал Елене, о чем сейчас и всегда думаю, что ношу в душе, она закричала бы от ужаса, – как будто прочел Иван на стене... – Она играет для меня и уверена, что я счастлив. Я же чувствую себя трупом, который случайно начал двигаться, думать и говорить. Всю жизнь я ношу эту тайну, это свое знание о человеке, но не смею открыть Елене, чтобы не заразить ее души. А как прекрасно было бы, если бы мы могли говорить об этом, думать вместе. Спокойно подвигались бы мы к бездне, которая должна поглотить нас, наших детей и когда-нибудь весь мир».

Желтые стрелы все быстрее летят в золотое озеро и неожиданно исчезают. Иван опять думает: «Ведь почувствовать, что между живым и не-живым нет разницы, значит понять все, все загадки. Понять, это значит сказать себе: нет



разного, все единое, и потому откажемся от стремлений, откажемся от расценок. Понять это, значит понять, что вся духовная жизнь, наука, искусство, религия созданы для того, чтобы затемнить эту главную мысль, и что они точно игрушки в руках детей, отвлекающие от главного. Все это несомненно, хотя я и знаю, что искусство, наука и мораль – хорошие и занятные игрушки».

Елена все играла, и он, когда надо было, улыбался ей и отвечал, но с вдохновенной радостью думал теперь о том, что смерть существует.

«Чего бояться, если есть смерть? Ужас был бы в вечной жизни, в сознании невозможности примирить противоречия, – смерть разрешает все заблуждения. Слава Богу, есть смерть, привет ей! Вот скоро, рано или поздно, придет она ко мне, к Елене, к детям и погасит нас... В этом – моя радость, моя единственная вера. И радость эта покрывает даже любовь, потому что смерть выше любви».

От усталости он незаметно задремал... Желтые стрелы все падали в золотое озеро... Упала последняя, вынырнула и поплыла прямо, чуть колышась на золотой ряби.

Елена, играя, вдруг почувствовала, что он заснул, как будто ей сказали тихо:

– Заснул...

И, неизвестно почему, Елене вдруг показалось, что с этой минуты начинается нечто новое в ее жизни. Она готова была поклясться, что так и будет. Завертится она, как-то закру-

жится и, так вертясь, упадет где-нибудь мертвая.

Она перестала играть, поднялась и на цыпочках вышла из спальни, не зная, что с собой делать. Потянуло ее в детскую. Дети спали крепким сном. Она долго стояла перед ними, вглядываясь, как будто не узнавала их, словно ей показали обоих через сто лет.

Но зачем же она родила их? Для чего им жить, и во имя чего они будут волноваться, стремиться? Неужели же, чтобы прийти к тому, к чему она пришла, увидеть бездну, и заглянуть в вечность.

Испуганная, она перекрестила их головки... Ведь их, как и ее и всех людей, кто-то вел во тьме. Но если бы с детства открыть им правду, они выросли бы другими: прекрасными, настоящими людьми, которых еще нет в мире, но которые будут непременно. Не теми, кому ставят памятники на площадях, и не теми, которые заняты наукой, творят религии, потому что и эти живут во тьме и учат, как ходить во тьме, чтобы не разбиться.

«А я хочу разбиться, – с мучительной страстностью подумала она, – потому что мне совсем не дорого благополучие мое, мои удобства, мои радости. Я не хочу единения с людьми, потому что эти еще не люди, и не желаю знать их науки, морали, их законы».

И ей вдруг представилось, что все люди, сколько их есть в мире, взявшись за руки, образовали большой круг, опоясали всю землю и играют в какую-то игру... И вот она опустила

руки, вышла из круга, и цепь замкнулась перед ней. Все кружатся, играют, а она стоит в стороне, уже свободная от их законов, идеалов, мечты.

Если бы ее поняли правильно, если бы каждый вышел из круга, то наступил бы конец человеческой комедии. Если бы так, если бы...

...А через неделю началась опять мелкая жизнь, рождавшая ту пустую и сытую радость, столь страшившую Елену, но от которой она еще не в силах была отказаться.

Пьют чай. Иван сидит в кресле. Говорят об отъезде, о том, что надо закупить всяких вещей, не забыть бы того, или другого.

Разве мысль доставляла Елене когда-нибудь страдание, вызывала к жизни новые трепетания сердца? Ее мозг спит. Она снова в круге и сейчас говорит быстро-быстро:

– Надо похлопотать о билетах, а потом в магазины. Куплю тебе дорожное пальто и себе, и детям. Вечером вызовешь управляющего и поговоришь о заводе... – и все в том же роде.

«Я в ту ночь очень испугалась, – думает Елена, – и я, как улитка, спряталась в своем домике. Оттого я теперь такая мелкая, маленькая. Но пусть буду маленькой, пусть чувствую, как козявка, мне хорошо, и я не откажусь от этого».

...А еще через неделю Елена стояла у окна, в купе вагона первого класса, и внимательно разглядывала публику, заполнившую перрон. Тут же были отец и мать Ивана, родные

и знакомые. Она улыбалась всем. Кто-то протискался сквозь толпу и подал ей букет цветов... Это был Глинский. Она кивнула ему головой, – он значительно поцеловал ей руку.

И больше ничего...

Иван сидел на диване, напротив – дети. На столе лежали цветы, коробка конфет.

Неожиданно прозвучал третий звонок. Паровоз заревел, вагон качнуло, поезд дрогнул, и перрон с людьми вдруг медленно поплыл назад, разворачиваясь во всю длину и показывая большие, освещенные окна буфета, телеграфа, конторы начальника станции.

«Теперь я опять твоя», – хотела Елена сказать Ивану, но удержалась и так и осталась прислонившись головой к стеклу окна, пока тьма не выдвинулась перед ней черной отполированной стеной.

Тогда она вздохнула, села и поднесла букет Глинского к лицу...

\* \* \*

В конце августа Иван стал торопить Елену с отъездом... Там в городе, в мае одно время чувствовалось так, будто только жизнь у моря может обновить, исцелить. И все оттого казалось поэтичным: сборы, езда по магазинам, разговоры о чудных солнечных утрах, о пляже, о купании, о новых знакомых. Хотелось пышной зелени для глаз, и так манило уви-

деть безграничную даль, море, которое почему-то казалось синим и круглым, купол неба, с белыми-белыми облачками, и зарева закатов, длинные аллеи, и так сердце жаждало тишины, мирного покоя, что каждый лишний день в городе, каждый час томили особенным томлением и грустью: уходят дни, часы и не видишь этого...

И все исполнилось, как представляли себе, как рисовали в мечтах. Даже лучше. В это лето Иван и Елена любили друг друга, как никогда еще.

Но лишь только подуло холодным ветром и появились первые галки, сразу от моря, от уставшей, пыльной, пожелтевшей зелени, от серого, однообразного пляжа и испорченных за лето аллей, от четырех комнат, которые занимали Галичи, дохнуло такой скукой, и столь чужим показалось окружающее, что обоих потянуло домой. И все уже после этого сделалось ненужным, непоэтичным, как бы нарочито придуманным, даже смешным: и парное молоко по утрам, и душистое, пахнувшее сливками масло, и купанье, прогулки, разговоры с курортными знакомыми. Пугали вечера своей неуютностью, тьмой и враждебностью. Пугал ропот моря. И каждую ночь было тяжело думать, что утром снова проснешься здесь, а не дома. Больше всего Иван и Елена скучали по бабушке. Казалось, что, если бы она была здесь, сидела у окна, глядела на море, все опять ожило бы, получило смысл и прежнюю прелесть... И от грусти разочарования, от безделья у них происходили такие разговоры:

– Вот видишь, Лена, – сидя на террасе и показывая на газету, говорил Иван, – вот видишь, каждый день вычитываешь как будто новое, а нового-то собственно и нет. Люди те же, и интересы те же... Сто лет тому назад, и тысячу, и десятки тысяч лет назад происходили точно такие же события, как вчера: люди по утрам узнавали о них, обсуждали, как мы с тобой, – жизнь же не подвинулась ни на шаг вперед.

«Я знаю, почему он это говорит, – думала Елена, – и надо собираться домой».

– Что знали или не знали в старину, – продолжал Иван, – то знают и не знают теперь. Все говорят: культура, культура, человечество идет вперед, а где эта культура, в чем она выразилась – ни один человек, если его хорошенько расспросить, не скажет. Кто только не появлялся в мире, от Конфуция, Будды. Христа до Канта, и как было скверно, а главное бессмысленно, так оно и осталось. На заре истории человечество не знало, кто оно и зачем, и сейчас этого не знает...

– Да, – отозвалась Елена. – Люди играют в какую-то игру и, как дети, воображают, что они и игра их самое важное в мире, но в сущности страшная скука от жизни... от всего!

Может быть, от тоски, а может быть, от чего-нибудь другого, она после долгого молчания вдруг неожиданно сказала:

– А тебя не пугает, что я только тебе принадлежу и так будет до самой смерти? Нет, я не то хотела сказать... Меня мучает, что я всегда – только я... Я отлично знаю, что испытую, когда буду наблюдать восход солнца, или когда поплы-

ву, а я хотела бы почувствовать, как ты это чувствуешь, или как полковник Иваницкий, как бабушка, или твой отец, что испытывает вот эта козявка, ласточка. Почему у тебя испуг в глазах? Мне скучно с собой, – с тоской сказала она. – Я прожила пол-лета, как козявка, и мне теперь страшно...

Всей мысли своей она не хотела открыть ему и замолчала, но волнение ее не проходило.

– Значит, нам пора уезжать, если ты уже до этих мыслей добралась, – очень серьезно сказал Иван.

– Да, надо собираться.

И началось то же, как перед отъездом из города: суета и томление, и разговоры о поэзии города... Милыми казались туманы, нависшие там над улицами, и шум, и утренние поездки на завод, звон колоколов, и все, все, что напоминало о городе.

\* \* \*

...Когда Елена вошла в свою квартиру, то в первую минуту не узнала ее. Комнаты, как будто, сделались больше, просторнее, а убранство их просто восхитило ее. Но тут случилось нечто необычное... Показалось ей вдруг, будто кто-то, которого она сразу не заметила, вошел в гостиную, стал в углу у окна и стоя, тут же умер... Даже мелькнуло его бледное лицо, очень знакомое, но чье – она не могла вспомнить, полузакрытые, еще светящиеся глаза и бессильно повисшие

вдоль тела руки.

«Что это?» – подумала она и перекрестилась раз, а потом еще два раза.

Но когда Елена вошла в столовую, расцеловалась с бабушкой, которую тоже сразу не признала, когда вбежала в милую, уютную спальню, открыла окно и сыграла что-то на рояле и опять подбежала к окну и выглянула на улицу, – страх ее прошел.

Потянуло ее пойти гулять и захотелось встретить знакомых.

«Я хочу притворяться, – подумала она, – что важна жизнь, знакомые, осень, развлечения, а не то, что я знаю, ну, пусть меня, пусть меня».

...Она не успела оглянуться, как пролетела неделя. Раза два она выходила гулять в новом осеннем платье, но как нарочно, из знакомых никого не встретила. Потом зарядили дожди... Окна целыми днями были мокрыми, слезились, и из гостиной казалось, что весь город такой же – в слезах.

Иван приводил дела в порядок и редко бывал дома. Елена уединилась, даже к детям не выходила и не мучилась от этого... Ощущение козявки, которое она летом пережила, когда безоглядно отдалась мужу, детям, покорила им во всем и себе ничего не оставила, прошло, и снова от нее, от ее сердца в бесконечность протянулась бездна, которую она уже ничем не могла закрыть, заполнить...

Неожиданно заболела бабушка... В столовой стало груст-



но без нее, окно, в которое она глядела, как бы умерло.

Бабушка лежала в кровати маленькая-маленькая, как ребенок. Она не говорила, не жаловалась, не беспокоила, только часто дышала, иногда хрипела. От этих звуков никуда нельзя было спрятаться, и где бы ни сидели, Иван и Елена посреди разговора останавливались, прислушивались... Врач приезжал каждый день, хотя сразу сказал откровенно, что она безнадежна. О том, что бабушка должна умереть, не жалел никто, – ни свои, ни навещавшие ее, и все же каждый, выходя из комнаты, испытывал грусть.

Будто что-то приятное улетало...

Вот была она здесь, никому не мешала, привыкли к ней, а она вдруг взмахнула крыльями, полетела... и обратно уже никогда не вернется.

По ночам Елена и Иван, слыша стоны бабушки, разговаривали о том, что и они умрут... Будут они как-то на улице и не догадаются, что в последний раз гуляют, видят людей, дома, – даже не попрощаются с ними. Придут домой и смертельно заболеют... Каждый ляжет в кровать, как бабушка, и станет ждать конца... И больше никогда они уже не спустятся по лестнице, не выйдут из ворот, не увидят извозчика на углу. Никогда больше не обвеет их милый ветер, не замочит дождь... Разговаривая об этом, оба необыкновенно сильно чувствовали любовь друг к другу, к детям, к бабушке, и глаза их были в слезах.

Бабушка умерла на рассвете. Все спали в доме, кроме си-

делки, которая одна увидела, как бабушка, удивленная приподнялась на локтях, опустилась на подушки и дыхнула в последний раз, будто хотела свечу потушить.

Лицо ее не переменилось, и так же таинственно она улыбалась полузакрытыми глазами, словно говорила: «Я что-то узнала, а вам не скажу. Сколько раз надо было – рожала, сколько хлеба съесть – съела, сколько верст шагами отмерить – отмерила... Все я исполнила, а зачем? Теперь я знаю, а вам не скажу».

– Какое у нее лицо, Иван! – сказала Елена, когда увидела бабушку. – Неужели там так хорошо?

...Хоронили бабушку торжественно. Никто не плакал. Все лица были серьезные, и каждый чувствовал себя так, как обыкновенно на похоронах. Елена, Иван и дети, друзья и знакомые шли за гробом медленно, важно, но как обреченные, как стадо, которое смерть когда-нибудь уничтожит. И все, как бы сговорившись, думали о глупости жизни, о глупости суеты, модности, о ничтожности человеческих дел и стремлений... Возвращались же опьяненные и опять, будто сговорившись, все с удовольствием думали о том, что не они, а бабушка лежит в могиле.

На похоронах Елена в первый раз после приезда встрети-лась с Савицким, с Глинским и с другими знакомыми. Савицкий казался ей милым. Глинский на кладбище был мрачен, молчалив, серьезен, – но по дороге в город много говорил и, в конце концов, развлек Елену.

Грустью началась и грустью кончилась эта осень. Но как только выпал первый снег и установилась санная дорога, неизвестно отчего, от нее ли, оттого ли, что город стал белым, что зазвенели бубенцы на всех улицах, но грусть эта рассеялась, исчезла...

Елена начала всюду бывать. Она посещала концерты, литературные вечера, ее постоянно окружала куча поклонников, среди них Глинский и Савицкий... Раньше ей было бы стыдно быть окруженной поклонниками, а теперь думала: «пусть». Она сама не могла бы сказать, что в ней переменялось, но чувствовала, что с весны стала иной, чутьем понимала, что и другие догадались об этом. Больше остальных, настойчивее и нежнее ухаживал за ней Савицкий. И ей он казался лучше всех. Нравилось Елене то, что он умел создавать настроение и крепко держать ее в нем.

Приятны были его чуткость и прямота; нравилось, что у него была старая жена и взрослая дочь, которая его презирала. Когда она думала о нем, он представлялся ей осенним золотистым днем, грустным, но приятным, тихо волнующим, или пожелтевшим листом на дороге, который крутит ветер и несет куда-то.

Хорошо сблизились они как-то случайно на балу... Был он здесь с женой и дочерью. В середине вечера он подошел к

ней, когда освободился, и вторично поздоровался. Не глядя на него и ища кого-то глазами, Елена спросила:

– Вы не видели моего мужа?

– Представьте, нет, – давайте поищем его.

Он подал ей руку, и они пошли бродить по залам... Ей было жарко, и она попросила принести мороженого. Уселись они в маленькой уютной гостиной. Лакей принес мороженое.

И было обоим отчего-то странно. Из залы донеслись звуки мазурки. Смутный гул голосов не утихал ни на минуту, и можно было разговаривать о чем угодно. В гостиную входили и выходили: одни оглядывали Елену и Савицкого, другие же пробегали быстро, точно их преследовали.

– Вы кушайте, а я буду на вас смотреть, – сказал Савицкий, – потом поищем Ивана Николаевича.

«Его тоже зовут Иваном», – подумала Елена о Савицком и кивнула головой вместо ответа.

– Вы не поверите, до чего я волновался весь день, – произнес Савицкий. – Меня с утра осаждали больные, а я, вместо того чтобы начать прием, велел сказать, что меня дома нет, ходил по комнате и думал о том, что увижу вас на балу. И мне было стыдно самого себя... Яне мальчик, и, странно, чувствовал себя мальчиком и немножко презирал себя.

Она посмотрела на него большими, удивленными глазами, покраснела, и он подумал с нежностью: «Как ее украшает то, что она краснеет!»

Она медленно отвернула голову. В профиль Елена пока-

залась ему еще милее.

«Он так говорит со мной, – думала в эту минуту Елена, – будто мы что-то вместе пережили, и я ему благодарна. Что бы он ни сказал, не чувствуется пошлости в его словах... И все-таки я бы не хотела этой интимности».

– Кушайте, – мороженое быстро тает... У вас руки, как голуби, – вдруг умоляюще сказал он, и даже сам удивился тому, что сказал: «руки, как голуби»... – Сейчас кто-нибудь придет и пригласит вас танцевать... Вы – странная, необыкновенная женщина. Вот об этом я весь день мечтал вам сказать.

Он, взволнованный, поднялся и проговорил торопливо, не глядя на нее:

– Самое же удивительное, что в соседнем зале сидит жена с дочерью, и там же ваш муж.

Они долго молчали, потом вышли из гостиной под руку, гуляли по залам и никого не замечали... Он рассказал ей о себе, о том, что у него нет ничего впереди. Говорил о том, как, в сущности, несчастны люди, и что жить без идеала, без какой-нибудь, хоть маленькой веры, – большое страдание... Это было так хорошо, так гармонировало с ее настроением.

В одной из гостиных у окна она вдруг сказала ему.

– Мне нужно испытать потрясение... Я не мечтаю о радости, но готова перенести какое угодно страдание, лишь бы вернулась ко мне прежняя душа моя, прежнее отношение к жизни... И все это не то! Что бы я сделала со своей прежней

душой, куда бы я ее теперь примостила? Нет, нет, я не хочу этого.

– Вы очень взволнованы, – сказал Савицкий, тихо взяв ее за руку.

Она казалась ему все милее и милее.

– Мне хочется уйти от себя, – торопливо произнесла она, оглянувшись и чувствуя, что может Савицкому сказать все до конца, – уйти, совсем уйти!.. Вот где-то, на большой площади собрались, – я так представляю себе, – художники, ученые, философы, учителя жизни и народ... Собрались для того, чтобы разрешить какие-то важные для них вопросы. И вдруг в эту самую минуту, когда люди были заняты делом, позади этой площади пробежала собака, обыкновенная собака. Вот этой собакой я хотела бы быть, Иван Андреевич, только поймите меня хорошенько, и чувствовать то, что чувствовала она к людям в то время, когда те решали свои вопросы... Я не могу яснее сказать, – нетерпеливо вырвалось у нее. – Собакой, бегущей мимо человечества, – повторила она тихо, как бы к себе обращаясь.

– Но ведь она ничего не чувствовала, – с удивлением сказал Савицкий.

– Да, да, ничего, – покраснев, ответила Елена, – ничего, что относилось к человечеству, но это-то мне и нужно, поймите меня. Дайте мне руку, – она чуть не сказала «дорогой», – и пойдём в зал.

«Может быть потому, что я теперь счастлив, там и тан-

цуют с таким упоением, – подумал Савицкий... – Мне, как мальчику, хочется благословлять жизнь».

Неожиданно перед ними вырос Глинский и пригласил Елену на вальс. Она кивнула головой и, не оглянувшись на Савицкого, ушла танцевать. Глинский, взяв ее под руку, стал шептать ей что-то дрожащим голосом на ухо, но теперь она от этого не страдала.

Иван сидел в буфете с товарищем, химиком Новиковым, пил чай, спорил о строении вещества, терпеливо ожидая той минуты, когда, наконец, можно будет поехать с Еленой домой.

Он усадит ее в карету, нежно обнимет, и непременно скажет, что безумно любит ее, боготворит, и что она – необыкновенная женщина...

\* \* \*

Наступил день рождения Ивана. В доме готовились к нему целую неделю. Комнаты имели торжественный вид, взяли рояль напрокат, нарочно для этого дня, поставили его в гостиной, и гостиная сделалась неузнаваемой, чужой. Однако, и это было приятно, нравилось и Елене, и детям, так как гармонировало с общим настроением торжественности и какой-то особенной радости.

Декабрь был на исходе. Весь день раздавались звонки... Раньше всех явились служащие с завода, их сменили родные,

потом стали являться знакомые и, в конце концов, кроме детей, утомились все: прислуга, Иван, Елена, отец Ивана, его мать... Часов в семь наступило успокоение. Ушли и старики, и Иван и Елена, наконец, остались одни.

В гостиной оба стояли у окна, обнявшись, и выглядывали на улицу, покрытую снегом. Снег стал падать еще днем, к вечеру же усилился и валил хлопьями... Иван потушил электричество и приятно было, находясь в темноте, следить за синими пушинками, кружившимися в воздухе. Елена вспомнила день их свадьбы, вспомнила, какими были Иван и она, когда вернулись из церкви, – и оборвала. Хлопья снега рассеивали настроение. Обоим хотелось говорить об этом дне, который смутно рисовался в памяти белым, бесконечно длинным, – восстановить подробности, и ничего не вышло.

– Тебе сегодня тридцать шесть лет, – вдруг сказала Елена. – Уже седина показалась в висках и усах...

– А я, – ответил Иван, – с радостью и волнением думаю о том дне, когда увижу в твоих волосах первую белую ниточку. Тогда ты никому уже не будешь нужна, только мне...

Опять хлопья перед глазами...

– Кажется, мороз на дворе, – проронила Елена.

– Да, мороз, Лена! Прижмемся ближе друг к другу. Как мне хорошо... Я не знаю, что означает тридцать шесть лет, возможно, что тысячу, возможно, одну секунду.

Хлопья, хлопья...

«Может быть, сейчас кто-нибудь заблудился в поле, зовет



на помощь, мечется от страха и к утру замерзнет, а я стою в тепле, обнявшись с ней, – подумал Иван. – Может быть, в эту минуту где-нибудь в уголке, в церкви молится старик или бьет поклоны старушка, и оба обнажают перед Неведомым свои измученные сердца, а я целую Елену, вдыхаю аромат ее тела. Если бы я кому-нибудь рассказал, что сейчас чувствовал, – с волнением сказал он себе, – меня называли бы фарисеем, негодяем, а я не негодяй...»

И он рассказал Елене о чем думал: о заблудшем в поле, о старушке, о своей совести...

– Если же представить себе, – произнес он, все еще почему-то взволнованный, – что в России, в городах и в городишках, в селах и деревнях, в каждой избе мучатся от страданий, мечутся и проклинаяют, прямо совестно становится за то, что мы сейчас ждем гостей и будем танцевать и веселиться весь вечер. Жизнь полна мучительных, нелепых противоречий. Настоящий человек оборвал бы ее...

Хлопья, хлопья...

«Как сильно я люблю его, – думала Елена об Иване, – и как я его уже не люблю. С виду я ничем не отличаюсь от других, а я уже на миллионы верст ушла от всего и не знаю, вернусь ли назад. Я иду, – сама не знаю куда...»

Когда зажгли электричество, все неясное, тревожившее обоих, размялось. Хлопья снега, мелькавшие в темных окнах, уже не беспокоили... Падает снег, просто снег! Завтра установится санная дорога, город делается белым, и по всем

улицам будет звучать плачущий звон бубенцов.

– Я сыграю что-нибудь, – сказала Елена, садясь за рояль... – Тебе тридцать шесть лет, и я это и сыграю.

– Да, мне тридцать шесть лет.

Она играет и говорит:

– Поцелуй меня неожиданно, чтобы я испугалась...

...В девять часов начали съезжаться приглашенные. Первыми явились управляющий Ивана, Петр Петрович Налимов, блондин, в синих очках, худой, кажется, чахоточный, и жена его, Людмила Сергеевна, полная, краснощекая блондинка, с ямочками на щеках, с милыми голубыми смеющимися глазами. Петр Петрович поднес Елене великолепный букет из роз, а после этого, потирая влажные, холодные от мороза руки, прошел с женой в столовую, где сейчас же обоем подали чай.

Заговорили о чем-то... Раздался звонок. Это был Новиков, товарищ Ивана по университету, отличный химик и хороший математик.

Столовая понемногу наполнялась. Пришел Глинский во фраке, надушенный, как женщина, веселый, со своими перстнями на пальцах; адвокат Богословский, краснощекий, толстый, бривший усы и бороду, похожий на актера, с женой, Марьей Степановной, худенькой, миниатюрной брюнеткой; потом явились два офицера, Савицкий, старая почтенная дама, помещица-вдова, дальняя родственница Елены, с двумя барышнями, и еще несколько лиц. От нанесенного холода в

столовой сделалось неуютно. Пришедшие утирали мокрые усы, бороды и лица, говорили что-то о погоде, о зиме, обращаясь то к Елене, то друг к другу.

Глинский случайно очутился между Еленой и Людмилой Сергеевной... Прихлебывая чай, он думал о том, что интересны обе, и хозяйка, и эта полная блондинка, у которой очаровательные ямочки на щеках, и что, смотря по обстоятельствам, будет ухаживать то за той, то за другой.

Разговор начался общий, но так как стол был очень длинный, то скоро разбился. Каждый занялся своим соседом. Савицкий, успевший шепнуть Елене в ту минуту, когда поцеловал ей руку, что он «сегодня необыкновенно взволнован», сидел рядом с Марьей Степановной. Он что-то тихо рассказывал ей, неслышно постукивал пальцем по столу и изредка, мимолетно, взглядывал на Елену. Елена, хотя и не смотрела на него, однако, каждый раз чувствовала на своем лице этот мимолетный взгляд и краснела.

Чопорная старушка-помещица рассказывала Петру Петровичу о зиме в деревне и к каждому слову прибавляла: «бабушка мой». Тот почтительно слушал ее, поглаживал свою русую приятную бороду и казался очень заинтересованным. Офицеры смешили барышень.

Иван, держа стакан с чаем в руках, беседовал с Новиковым и развивал перед ним любимую мысль о соединении метафизики с естественными науками, с чем Новиков, будучи приверженцем научной философии, никак не соглашался.

Говорили они с жаром и долго, пока перестали понимать друг друга. Богословский, мечтавший на студенческой скамье сделаться актером, душа общества, отличный рассказчик, имитатор и танцор, представлял в лицах нашумевший недавно процесс и, в конце концов, завладел общим вниманием.

Елена вдруг поднялась и незаметно выскользнула из столовой, сделав знак Ивану... Удивленный, он пошел за ней. В спальне она неожиданно обняла его и молча несколько раз поцеловала. Стояли они оба у закрытой двери, точно уединившиеся влюбленные, и было это немного смешно. Из столовой ясно доносился голос Богословского:

– Так я же, ваше благородие, ни у чем не виноват, ни у чем, – повторил Богословский при смехе гостей.

– Почему? – спросил Иван улыбаясь.

– Не знаю, – ответила Елена. – Вдруг захотелось сказать, что я до смерти влюблена в тебя... Милый мой! Ну, еще один раз только, тебе ведь тридцать шесть лет. Теперь иди, я успокоилась.

Когда она вошла в столовую, там уже чувствовалась скука. Разговоры стихли, каждому хотелось встать, размять ноги. Елена предложила перейти в гостиную. Все с удовольствием поднялись. Мужчины закурили... Глинский вел Елену под руку и спрашивал:

– Вы на меня сердитесь? Почему же мне кажется! Вы так холодны со мной.

А она отвечала с притворной любезностью:

– С чего вы взяли? Я рада вам.

В гостиной расселись как пришлось. Богословский попросил Елену сыграть на рояле, и она тотчас же согласилась, сказав лишь:

– Рояль прокатный. Боюсь, ничего не выйдет.

Иван вопросительно поставил перед ней Бетховена. Она кивнула головой и стала играть. Гости сидели чинно, со скучающими лицами, лишь некоторые шептались. Елена играла по обыкновению хорошо, но этот Бетховен ее не трогал, будто исполняла она не настоящего, а какого-то другого Бетховена.

– Видите, я предсказывала, – не выходит, – сказала она, повернувшись к гостям, когда сыграла половину сонаты, – попробую Моцарта.

Но и Моцарт был другой... Тот, настоящий, любил появляться по ночам, в тишине, когда душа томилась. Он приходил неслышно из иного мира и приносил все, что было в нем прекрасного, разрешающего... Этот же был скучный, мертвый. Тогда Елена сыграла на память модный мелодический вальс, и гости вдруг ожили, заговорили, и сразу началось то, ради чего все пришли сюда: веселье и забытье.

Елену сменил Богословский и сыграл «чижика» на разные лады. Вышло это очень забавно. Чижик, полька и вальс очень понравились, но особенный успех выпал на «чижика». Богословский стал вдруг всем очень приятен. Когда он кон-

чил и рассказал несколько анекдотов из еврейской и армянской жизни, гости были окончательно покорены.

Савицкий улучил минуту и, под шум и смех, опять шепнул Елене:

– Я сегодня необыкновенно взволнован.

Глинский ухаживал за Людмилой Сергеевной. Ей это было очень приятно, – она чувствовала себя героиней. И так убедительно говорил Глинский о ее красоте, о милых наивных глазах, о ее серебристом смехе, что она сама стала себе нравиться, полюбила себя, а к мужу почувствовала презрение.

Очень мило спела несколько романсов одна из барышень. Когда она брала высокие ноты, у нее сильно дрожали ноздри и язык. Гости делали вид, что не замечают этого, аплодировали и просили петь еще и еще.

Иван изредка посматривал на часы, не пора ли сесть за ужин, переглядывался с Еленой, и когда она подала знак, что уже можно, он неожиданно весело и громко сказал:

– Прошу в столовую, – и подал руку Марье Степановне.

Глинский собрался было предложить руку Елене, но его предупредил Савицкий. Тогда он вернулся к Людмиле Сергеевне, стоявшей в ожидании кавалера с рассеянным видом, и пошел с ней.

Первый тост за Ивана произнес Богословский; все мужчины потянулись к виновнику торжества. Закусили икрой, семгой и опять наполнили рюмки холодной водкой. После Бого-

словского, Петра Петровича, встал Глинский. Опять выпили и несколько раз это проделали, будто каждый был несказанно рад тому, что Ивану исполнилось тридцать шесть лет. От выпитой водки всем стало необыкновенно весело... Столовая вдруг показалась огромной, как бальный зал, электрические лампочки приняли вид ярких звезд... и по лбу поползли мурашки.

Савицкий, сидевший рядом с Еленой, искоса поглядывал на нее, несмело любовался и думал о том, что если бы не она, он сюда не пришел бы... На другом конце стола Иван о чем-то разговаривал с Новиковым. Савицкий нечаянно посмотрел на него, и что-то неприятное, враждебное к себе шевельнулось в его душе.

«Как все это нехорошо, – упрекнул он себя, – а я не могу прекратить, не в силах».

Перед его глазами мелькнула рука, державшая рюмку водки.

«Это Петр Петрович хочет со мной чокнуться, – пронеслось у него, – надо встать и сделать любезное лицо».

Он стукнул своей рюмкой о рюмку Налимова, выпил, сел и снова налил себе водки.

– Вы очень много пьете, – услышал он голос Елены.

– Я сегодня необыкновенно взволнован, – ответил Савицкий, посмотрев ей прямо в глаза.

– Вы уже третий раз повторяете это. У вас были неприятности?

– О, нет! Я в своей жизни не переживал ничего более радостного, – тихо ответил он.

Она взяла крохотный кусочек семги, положила его на хлеб.

«Я не могу ей нравиться, я знаю, – думал Савицкий. – Мне сорок четыре года, я некрасив. Но все равно. Я чувствую, что нужен ей, нужен для ее жизни, вот такой, какой я есть».

Он осторожно придвинул к ней ногу... Она не отняла своей, только опустила голову и старалась думать, что Ивана нет в столовой.

– Я хочу с вами выпить, – сказал он тихо. – Вы не пейте, я один... потому что я вас безумно люблю.

– Говорите тише, – не своим голосом произнесла она и подняла рюмку.

– Я сегодня самому себе признался в этом, – шепотом ответил он. – Я безумно...

Она испуганно повернулась лицом к Ивану, поглядела на Богословского.

– У меня на уме четыре слова, – продолжал Савицкий, – и мне бы хотелось говорить только об этих четырех словах... Вот я ударяю тихонько четыре раза по столу. Это означает, что я вас...

– Вы меня не щадите.

– Нет, нет, – засуетился он и невольно обернулся.

Лакей в белых перчатках, почтительно изогнувшись, держал у его плеча блюдо с рыбой.



«Надо взять», подумал Савицкий и, отделив кусок, положил сначала Елене в тарелку, потом себе и тотчас обнял коленями ее ногу и сжал ее четыре раза.

Она сидела неподвижно, словно оцепенела и к чему-то как бы прислушивалась.

– Представьте, – обратился вдруг Савицкий к Богословскому, – сегодня я встретил не больше, не меньше как четырех знакомых...

– Ну, и что же из этого? – удивился Богословский, уставившись мутными глазами на Савицкого.

– Вас не удивляет число? Смотрите, я отсчитываю четыре... – И он постучал вилкой четыре раза по тарелке.

«Лишнее выпил милый доктор», – подумал Богословский, и молча отвернулся от него. Савицкий радостно улыбнулся...

– Как это просто, – сказал он Елене. – Мне только что пришло в голову... Здесь и муж ваш, и знакомые, а мне нужно, до смерти нужно сказать вам, отчего я сегодня необыкновенно взволнован. Мне нужно, чтобы вы знали, что со мной... Четыре звезды, – повторил он, – четыре сестры, четыре, четыре... Никогда я не думал, что это число скрывает в себе столько прелести, столько таинственной радости. Посмотрите, я пишу вилкой на столе – четыре. Как хорош, как нежен и упоителен этот знак... Тысячу лет назад вы были такая же странная, необыкновенная, молчаливая, и я говорил вам: четыре, четыре...

Кажется, уже пьют шампанское. Богословский выбежал из-за стола. Надо пойти чокнуться с Иваном...

И вот Савицкий среди гостей, окруживших Ивана.

«Никогда я не переживал так ярко своего счастья, – думает Савицкий. – За что это мне? Я – дурной, испорченный человек, делаю гадости, сейчас я лицемерно буду чокаться с ее мужем, а вместо презрения к себе я испытываю особенный подъем духа. Я нужен ей. Какая милая, необыкновенная, странная женщина, – точно девушка».

– Четыре, – произнес он так, чтобы Елена услышала, и пошел к Ивану, чокнулся с ним и искренно поцеловал его мягкую бороду.

...Неизвестно как очутились в гостиной.

Богословский сидел за роялем и играл вальс. Офицеры танцевали с барышнями. Глинский, подхватив Елену с милой развязностью, на которую теперь нельзя было сердиться, закружился с ней и крепко прижал ее к себе.

– Почему вы сегодня такая жестокая ко мне, – шепнул он ей на ухо; от него сильно пахло шампанским, – и все время вы такая, – жаловался он. – Я начинаю вас бояться... Дорогая, почему в вальсе я могу вас прижимать к себе, любить и думать: когда-то я целовал ваши руки... но вот вы скажете: «я устала», я поклонюсь вам, и вы опять станете строгой, холодной, как статуя... А я ведь ничего не забыл. Я обожаю, обожаю вас.

Рядом кружились молоденький поручик с Людмилой Сер-

геевной. Казалось, что он бегал вокруг нее, гнал куда-то, так странно худ он был, а она толста... Неожиданно вскочил Богословский, сделал знак жене заменить его у рояля, подбежал к Елене и низко поклонился ей...

Елена положила руку на плечо Богословского и нечаянно взглянула на Савицкого. Он сидел в углу и что-то писал пальцем на коленях.

«Четыре!» – сказала она себе с тихой радостью...

И, танцуя, думала: «Я сейчас сяду подле него... Как прекрасно, что он не молод, что он старше всех. Фрак ему не к лицу, и это хорошо. Это именно идет к нему...».

Оставив Богословского, она подошла к Савицкому и молча села подле него, отказавшись от мазурки, которую уже начали танцевать... И Савицкий молчал, и оба Бог знает о чем думали под звуки мазурки.

«Четыре, четыре...» На улице не слышно того, что здесь говорят, не знают, что тут танцуют... А если подняться на десять верст от земли, то уже полная торжественная тишина, словно в мире нет ни единого живого существа... А внизу и играют, и любят, плачут и страдают... и, как это странно, как непонятно...

...Налимов Петр Петрович сидит за роялем и играет трепака. Богословский, широкий, громоздкий, танцует. Бледная барышня, тоненькая, как былинка, стоит против него и машет платочком. Гости хлопают в такт руками... У Елены слезы на глазах, или, может быть, Савицкому только показыва-

лось?

А у дверей беседуют Иван и Новиков. Иван говорит задумчивым голосом, лицо его выражает недоумение:

– Я, Сергей, не верю в идеалы за ложь их; но почему же все-таки с идеалами человечество как будто движется вперед, да и каждому человеку легче с ними. Почему человечество нуждается в «да» и отбрасывает «нет» и, наконец, почему пессимизм бесплоден, хотя он есть истина истин, а оптимизм, который ложен весь от первой до последней буквы, нужен человечеству и врачует его, тащит вперед. Вот этого я не пойму, никогда не пойму...

То, к чему стремился Савицкий, что он считал высшим для себя счастьем, без чего, казалось, вся жизнь потеряла бы свою ценность, свой смысл, наконец свершилось... Елена полюбила его! Она ни в чем ему не призналась, ни разу не проронила слова о своих чувствах, и все-таки он знал, что она полюбила. Для Савицкого в их отношениях самым приятным и самым значительным было не то, что оба говорили друг другу, а что чувствовалось за сказанным, или посреди молчания, когда и у него, и у нее иссякали слова. Он испытывал озарения радости и думал, что то же самое происходит с ней, он любил и любила она! Такого милого, поэтического романа Савицкий никогда не переживал, было неясно и тревожно, и томительно, и, вместе с тем столь ясно, будто он перечитывал знакомую книгу.

Раньше, в начале знакомства, и даже позже, когда он, бы-

вало, думал о ней, всегда старался представить ее себе в том или ином соблазнительном виде. Нисколько не жаль ему было разрушить ее обаятельный образ, и чем лучше ему удавалось унижить Елену в своем воображении, сделать вульгарнее, доступнее, тем больше хотелось ее покорить, и все средства для этого казались хороши. В победе над Еленой он полагал свое превосходство и так и смотрел на нее, как на низшую... Раньше он думал, что чем скорее свое сложное, необыкновенное чувство к ней сделает простым, обычным, тем легче приблизится к венцу радости, и будет так, как было с другими женщинами: сначала желание, после победы равнодушие и презрение... Теперь наступило иное. Приятно было молчание вдвоем, и, словно он превратился в юношу, прекрасной и чистой стала мечта о ней. Упоительно было думать, что она внесла в его жизнь радость, нежность и красоту. Раньше жизнь его была пустая, бесцельная и представлялась, как движение к смерти, и всегда было страшно чего-то, даже в минуты наслаждения и счастья; теперь не страшила смерть и не хотелось думать больше о том, каким он был бы пятьсот лет назад.

– Лучшее впереди, – говорил он себе, – и Бог – во всем, в каждой мелочи, и в том, что случилось со мной, и в том, что я лечу больных, что я необыкновенно счастлив, и в ней, и в этой золотистой пыли, которая как будто крркится без цели и смысла. Везде и на всем лежит Его радость, Его нежность, Его любовь... потому что я полюбил.

В таком настроении Савицкий прожил два месяца, пока Елена не дала обещания придти к нему. Тогда в нем снова вспыхнуло то старое, которого он начал стыдиться, когда почувствовал настоящую любовь.

Ждать он ее начал с утра, даже с ночи... Дорассвета он бродил по комнатам, держа руки на затылке, не находя себе ни места, ни покоя, ложился, гасил электричество, много курил, опять вставал и все думал без конца, до одурения, о ней и о том, что она придет.

Все утро он простоял у окна. Был уже конец февраля... Туман висел перед глазами мутно-серой пеленой, и из комнаты не видно было, что делается на улице... Но хорошо было стоять так, ничего не видя, и думать о том, что жена и дочь уехали в Крым... Что Елена, может быть, в эту минуту в волнении бродит по комнате, и сердце у нее сжимается так же, как у него... Что идет весна, чувствуется она уже везде: на улице, в каждой складке ветра, в самом тумане, в смеющемся солнце, в голубых, между облаков, пятнах неба, в щебетании птиц...

Потом он сидел перед зеркалом и выщипывал из усов бросившиеся в глаза седые волоски.

«Скоро и это перестанет помогать, – думал он. – Усы сделаются полубелыми, получерными, лицо изменится, станет неузнаваемым, и будет стыдно встречаться со знакомыми... Может быть, из отвращения в конце концов сбреет усы и сделается похожим на актера, на лакея, на ксендза. Как все это

грустно... и ненужно».

Время идет медленно. Возможно, что даже не идет, потому что часы давно показывали два, и теперь они тоже два показывают.

«А может быть, Елена мучится от этих двух часов, как и я, и тоже не знает, что с собой делать, – подумал он... – Как мне ее жаль».

– Зачем же, – сказал он громко, – и для чего я ее соблазнил? Я ведь все знаю, все испытал и ничего нового не узнаю от того, что будет между нами... Зачем же я это делаю? Я овладею ею, невольно развращу, – зачем же я это делаю? Разве не лучше, когда она далека от меня и чиста?.. И все-таки хочется, до смерти хочется обнять ее, прижаться к ней, овладеть! Пусть это гадость, а я хочу сделать гадость и ни за что не откажусь от Елены... Как странно! Гадость, и все-таки нужно, нужно, нужно!

В четыре часа он сидел у камина, желтый, с мешками под глазами и думал: «Разве она может любить меня? Я не юноша, во мне нет ничего блестящего, ни обаятельного, почему же я думаю, что она полюбила меня? Разве она сказала мне: „я люблю вас“? Даже на мою просьбу прийти она не ответила, а лишь кивнула головой. Почему же я думаю, что она меня любит? Для чего обманываю себя, и зачем этот обман? И как мне жаль эту необыкновенную, умную, изящную женщину...»

И снова, точно в тумане, в голове неслось, пело, звенело:

«Хочу ее! Хочу, чтобы она сидела у меня на коленях и краснела. Хочу гладить ее плечи, прижиматься к ней и смотреть ей в глаза, немного испуганные, немного удивленные, и целовать. Хочу этого, хочу!..»

Вечер наступил как-то неожиданно, и казалось, что не было длинного мучительного дня. Савицкий зажег электричество, снял сюртук, который оставался на нем с обеда, – обедал он в ресторане, – надел тужурку и сел в кресло у камина. Хотя он дал себе слово не пить сегодня, однако за обедом не удержался, выпил водки и вина и теперь испытывал сильную жажду. Сидя в кресле, он начал обсуждать чего бы ему выпить, и, как это бывает, чем больше старался не думать о вине, тем сильнее тянуло его непременно выпить вина.

Он вошел в столовую, где были приготовлены для него и для Елены два прибора, закуски, конфеты, фрукты, вино, оглядел стул, на котором она будет сидеть, погладил усы и тотчас же налил в бокал вина. Выпив, он почувствовал раскаяние.

«Не вина бы теперь, – подумал он и опять погладил усы, – а чего-нибудь другого, – ну, все равно!..».

За полчаса до назначенного времени он отпустил горничную и остался один на всю квартиру. От волнения нахлынувшей страсти и желания он уже не мог сидеть и стал ходить взад и вперед по длинной передней, гадая, придет она или не придет? Иногда это казалось чрезвычайно простым. Поднялась по лестнице, позвонила... Иногда же думалось, что это



никогда не может случиться. Никак нельзя было себе представить, что Елена, та самая Елена Галич, вдруг появится в квартире Савицкого.

Он сосчитал, сколько шагов передняя имела в длину, и удивился, что было их так мало: двенадцать... Но двенадцать делилось на четыре, то есть, на «я вас безумно люблю», и, следовательно, думал он, она придет. Теплая волна прилила к сердцу, дрожали ноги.

За несколько минут до условленного часа он приоткрыл входную дверь и уже не отходил от нее, прислушивался к каждому шороху на лестнице и волновался, как гимназист.

«Вот этого самого я когда-то желал, – сказал он, стоя перед дверью с опущенной головой. – Я еще полгода тому назад представлял себе, как буду стоять у этой двери, волноваться, и вот так оно и случилось...»

Елена тихо открыла дверь и столкнулась с Савицким на пороге. Савицкий оторопел, как пойманный в чем-то дурном, кровь медленно прилила к его щекам... Не соображая, он вымолвил:

– Я думал, что вы уже не придете.

Елена кивнула головой... Лицо ее, бледное, без кровинки, суровое, почти монашеское, выражало покорность. Точно она пришла сюда не любви ради, а принести последнюю жертву, может быть, поставить последний вопрос... Она стояла неподвижно, опустив голову. Поразил ее запах вина в передней и то, что Савицкий был в тужурке, а не в сюртуке.

Она его едва узнала, так не был он похож на знакомый образ, и показался он ей маленьким и несимпатичным.

«Четыре», – вспомнила она.

Савицкий опять повторил:

– А я думал, что вы не придете, – и прибавил к этим словам: – О, какая вы благородная! – но тотчас замолчал, почувствовав, что каждое слово, сказанное здесь, в передней, покажется пошлостью.

Точно они были на людях, он почтительно поцеловал у нее руку и быстро оглядел всю, та ли она, которая так ему нравилась, не изменилось ли чего в ней? И как только оказалось, что это она, та самая необыкновенная женщина, как только радость обожгла его сознание, что она сейчас будет принадлежать ему, – все, что он хотел рассказать ей о своих мучениях и беспокойстве, было им забыто. Ни разговаривать не хотелось, ни вести ее в столовую, как предполагал раньше, а сейчас, немедленно, не откладывая, испытать то, чего он добивался целый год... Потом он будет разговаривать, поведет ее в столовую, после будет все, все, – но сейчас надо, непременно надо повести ее в свою комнату, заманить туда как-нибудь и назвать своей. Только это, только это...

«Я обниму ее, – подумал он, густо краснея, – и если она ничего не скажет, значит мне все можно».

Он идет с ней очень медленно, обняв ее одной рукой за талию, и с волнением говорит:

– Я люблю вас! Ах, нет, эти слова я много раз повторял в

своей жизни... Вот я говорю другим тоном, – и он изменил свой голос, – «я томительно люблю вас», это то, что я чувствую. Я люблю вас за то, что вы заставили меня полюбить себя... Ведь я никогда еще никого не любил, как ни странно покажется вам мое признание... Я бесконечно благодарен вам. В этом – моя любовь к вам и моя нежность... Обнимая вас, я испытываю необыкновенное, незнакомое счастье.

Какая-то дверь раскрывается перед ней... Может быть, пропасть?

Она наивно и несмело делает шаг назад и тотчас покорно входит, потому что он поцеловал ее, потому что он просто, как свою, обнял ее...

...Она лежит на кровати и кажется Савицкому большой птицей... Розовые руки ее, открытые до плеч, точно розовые крылья. И оба думают и чувствуют разное.

Она слышит торжественные, спокойные звуки моцартовой фантазии: трам-там-там, я сделала непоправимое, я сделала непоправимое, непоправимое... И опять то же, но уже очень глубоко: трам-там, непоправимое.

Он стоит и думает с удивлением: «Так вот какая она. Сейчас я стану на колени... Но как же так? Я бы снял тужурку, но мне ее стыдно... Я потушу электричество... О, какая радость ждет меня сейчас!»

...Снова горит электричество. Елена лежит на кровати, устремив взгляд в одну точку, и беззвучно плачет. Савицкий, с опущенной головой, взволнованный, ходит по комнате...

Изредка он останавливается, взглянет на нее... и ему жаль ее сердца, и чувствует, что она стала ему еще милее и дороже.

И опять он ходит от дверей к окну и обратно и думает о том, как все вышло гадко, нехорошо, точно с девушкой. Вместо восторгов, забытья, упоения, было мучительно и грустно. Все время она молча плакала, и, уже принадлежа ему, была такая же далекая, незнакомая, необыкновенная, как всегда. Зачем же это нужно было?

Он подошел к ней, взял ее руку, – ее розовое крыло, – почтительно, нежно поцеловал и сказал:

– Простите меня.

И тотчас Елена засуетилась, застыдилась, покраснела и едва слышно шепнула:

– Оставьте меня одну.

...И вот она одета, опять в передней, – протянула руку Савицкому. Если бы он был ее мужем, она бы ему сказала:

– Скорей, скорей отсюда!.. Всего один час провела я здесь, а мне кажется, что я перешагнула вечность... Миллионы верст отделяют меня от прошлого.

Но этого нельзя сказать, и она говорить ему, слабо, виновато улыбаясь:

– Я... причинила вам беспокойство... Простите меня.

– Я провожу вас, – предложил Савицкий, но что-то уже мешает ему сказать ей:

– Вы стали мне бесконечно дороги... Если бы вы знали,

как мне сейчас стыдно...

– Нет, я пойду одна... Поцелуйте меня еще раз...

Ее уже нет в комнате... Савицкий все стоит у двери и, не слыша своего голоса, говорит, повторяет:

– Прощай, милая, необыкновенная, странная женщина, прощай!..

В столовой темно... Заснули два стула, на которых должны были сидеть она и он... Молчание бесшумно бродит вокруг стола. Темно... Непроизнесенные слова любви остановились у дверей и не заглянут туда. Темно... Сонно и грустно. И так будет до утра... молчаливо и мертво.

\* \* \*

«Тихая, теплая ночь, ушли туманы, и небо нежное. Мир полон загадок, полон чудес, – не понять его никому».

Елена стоит у окна гостиной и думает: «Тихая, светлая ночь, ушли туманы, и небо нежное..».

Так же спокойно, как она пошла к Савицкому, подчинившись неизбежному и нужному, так же спокойно пошла она к смерти и, как там, беззвучно заплакала, увидев ее.

«Я увидела свет, – сказала она себе, – и разбилась об этот свет, и я рада, – рада, потому что мне не нужно мое благополучие, потому что я не хочу ходить во тьме. Я поняла что-то, чего никто понять не хочет, и перестала нуждаться в любви, в людях, и оттого я так безмерно счастлива. Почему же

я плачу?»

Точно так же, как она скрыла от Ивана, что идет к Савицкому, так же скрыла она от него, что собирается умереть, и смерть не мучилась с ней, как не мучился с ней Савицкий.

Переступив во тьме порог гостиной, она вдруг поняла, что умерла давно уже, с той минуты, как отвернулась от людей, вышла из круга...

...Вот шла она, беззаботно играя, шая, и вдруг потеряла самое ценное, без чего человек не может жить – правду... Как это случилось? Шла, играла и незаметно уронила. То, что потом было с ней – и ее старание отдаться детям, и мысль о том, что ей все можно, и Глинский, и мечты о больших преступлениях, жизнь козявкою у моря, чувства к Савицкому, жертва своей любовью к Ивану, – все она делала только для того, чтобы закрыться от бездны, вернуть себе прежнюю правду.

«Да, так, – думала она, – да, так!»

...Вся в огне радости и томлении, и тоске, стоит Елена у окна. «Мир полон загадок...» – и как жаль, бесконечно жаль Ивана. Вот тут, в этой комнате, она будет лежать, а он будет плакать и спрашивать: «Зачем ты это сделала, Елена, – я не понимаю?» И дети, испуганные, с красными от слез глазами, войдут и припадут к ней...

«Если бы она была послушной и ходила во тьме осторожно, как учили пророки и учителя жизни, она бы не оступилась. А она не послушалась, на минуту вышла из круга, и –

погибла...».

И она заплакала оттого, что дети спят и никогда не узнают о ее страданиях, что нельзя пойти еще раз поцеловать их, постоять перед ними на коленях, пробраться к Ивану и прикоснуться губами к его руке. И еще о том она плакала, что так дурно сложилась ее жизнь...

И хочется ей вырваться из чьих-то рук, побежать в детскую, в спальню, сказать что-то нужное, важное, выплакать самые горькие слезы свои, – но... «Она» уже пришла, стоит в углу, торопит и как бы говорит;

– Иди, иди!

Малиновый длинный шнурок, раньше служивший жизни, змеится в руках... и... всепримирающая смерть!..